

Александр
Мильштейн

Dance Dance Dance

Школа *кибернетики*



ОРИГИНАЛ
ОБЪЕМ

Литература категории А

Оригинал – подлинник, образец;
истая, подлинная работа, произведение;
образцовый вес и мера.

В.И. Даль

Original – первоначальный, подлинный;
родниковый; родной, самобытный,
неповторимый.

Англо-русский словарь

ОРИГИНАЛ

Литература категории А

Александр Мильштейн

Школа кибернетики

Новеллы



Москва
Издательский дом
«ОЛМА-ПРЕСС»
2002

ББК 84(2Рос-Рус)6
М 607

Составитель серии
Борис Кузьминский
(ruslit@olmapress.ru)

Художник
Ольга Зирко

Мильштейн А.

М 607 Школа кибернетики: Новеллы. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — 304 с. — (Оригинал).
ISBN 5-224-03925-8

Проза 38-летнего мюнхенца Александра Мильштейна — редкий в теперешней русской литературе образец отточенного новеллистического мастерства. Явные и подсознательные ориентиры автора — Джозеф Конрад, Хулио Кортасар, Петер Хандке, Пол Остер... Тексты, включенные в книгу, читаются на одном дыхании и оставляют на языке долгий, нежный привкус экзотического плода, который вы попробовали во сне, а пробудившись, пытаетесь и не можете вспомнить его название.

ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 5-224-03925-8

© А. Мильштейн, 2002
© Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2002

German Affairs

Примечания переводчика	9
Двойники	28
German Affairs	38
Nocturne	52
Школа кибернетики	54

Розыгрыши

Неизвестный Солдатенко	99
Розыгрыши	120
Мама Роза	133
Сноп	140
Классический случай	146
Морская болезнь	169

Вмятина	175
----------------	-----

Палата мер и весов

Свидание	229
Палата мер и весов	233
Город-герой	264
Письмо	281
Школа русской йоги	292

German Affairs

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Мы с Ниной были в зоопарке. День казался с утра погожим, но где-то в районе носорогов начался дождь. Носороги были облачены в обширные, собравшиеся складками плащи. Мы — нет. Мы пошли было по направлению к выходу, но дождь стал проливным, и мы решили его переждать. В помещении, в которое мы забежали, жили рыбы и рептилии. В первом аквариуме плавал огромный электрический угорь. Видно было, как он поигрывает мускулами. Сверху висел вольтметр, показывающий величину напряжения, стрелка колебалась у отметки 600 вольт. Раздалась трель, нажимая на кнопку и приставляя телефон к уху, я подумал, что это угорь. Если он вырабатывает ток, то может и... Но в телефоне оказался голос Гены Подольского. «У меня для тебя есть халтура». — «Прямо благодетель какой-то, — сказал я. — Спасибо. Ты сам не мог справиться?» — «В том-то и дело, что нет. Клиент поговорил со мной пять минут и сказал, что он хочет, чтобы это сделал профессионал». — «Где ты находишь таких клиентов?» — «В кабаке. Я читал книгу, он увидел кириллицу и спросил, какой это язык. Разговорились. Довольно-таки чокнутый персонаж. Давай не тратить деньги, я тебе вечером позвоню и продиктую его адрес». Когда я на следующий день подъехал к дому, где жил «персонаж», я подумал, что по ошибке снова попал в зоопарк. Нет, там не было клеток, но их нет и в зоопарке, кажется, что звери разгуливают на свободе. Видимое препятствие смехотворно:

низкое бревнышко, кусты. А дальше — носороги. На самом деле кусты прикрывают глубокий ров с отвесными бетонными стенами. У дома, к которому я подъехал, было точно такое же бревно, а за кустами виднелись террасы жителей первого этажа. Лужайки, разделенные плетеными изгородями. По одной из них ходила серая лайка. Все это было так похоже, что мне хотелось заглянуть за кусты и убедиться, что там нет рва. Я сделал круг возле дома, но не нашел парковки. Пришлось отъехать на два квартала, а потом вернуться пешком. В первый момент мне показалось, что человек, открывший дверь, — альбинос. Когда он включил в коридоре свет, я понял, что это не так. Но то, что он производил впечатление человека, просидевшего в погребке несколько лет, это точно. И провел он меня в темную комнату. Жалюзи на окнах были опущены почти до самого пола. Он включил висевшее под потолком созвездие маленьких галогенных лампочек, а потом спросил меня, не лучше ли поднять жалюзи. Я развел руками. «Ваш дом — ваша крепость». — «Мой дом — мои доспехи, — сказал он, — жалюзи — забрало моего шлема». Я улыбнулся. Комната имела альков, в котором стоял компьютер. Лампа на штативе заглядывала в экран. На полу лежал большой надувной шар зеленого цвета. Я уже видел такие шары у знакомых — врачи иногда рекомендуют их вместо стула. Обеденный стол был завален толстыми книгами в мягких глянцевых обложках: «Oracle», «Perl»* и тому подобное. Господин Аттингер сказал, что его зовут Томасом, я тоже назвал свое имя. Он предложил перейти на «ты», после чего надолго замолчал. Он смотрел

* Новейшие языки программирования. — *Здесь и далее прим. издательства.*

в сторону, но когда я отводил от него взгляд, он начинал меня рассматривать. «Может быть, все же будем на «вы»?» — спросил я. «Я выгляжу таким старым?» Он не выглядел старым, хотя голова была совершенно седая. Поэтому я и принял его за альбиноса. «Нет, но переход на «ты» лишил вас дара речи». — «Дело не в этом. Я просто не решаюсь, видите ли, это такое дело...» Конечно же, дело было не в «ты» или «вы», а в том, что он никак не мог понять, что я за человек и можно ли мне доверять тайны. «Сейчас я сварю кофе, и мы продолжим», — сказал он и ушел на кухню. Я подошел к компьютеру и дотронулся рукой до мышки. Метеоритный дождь на экране прекратился, экран вспыхнул серым светом, на нем появилось лицо Аттингера. «Мой дом — мои доспехи», — повторил я про себя. Голос за спиной произнес мое имя, обернувшись, я увидел еще одно такое же лицо, при этом оно изображало такую же улыбку. Стол был расчищен, на нем стояли глиняный кофейник, две чашки, сахар в вазочке. «Я живу довольно замкнуто, — сказал Аттингер. — Я — не очень общительный человек. То, что я заговорил с вашим другом в кафе, — исключительный случай. Понятно, что я не знаю соседей, десятилетиями мы здороваемся — и только. Иногда я вижу, что табличка на соседних дверях исчезает, потом появляется другая. Меня все это вполне устраивает. Так вот: месяц назад в соседнюю квартиру въехала пара ваших соотечественников. Пока было тепло, они почти все время сидели на террасе и разговаривали по-русски. Я не могу сказать, что меня это сильно раздражает, скорее наоборот, это раздражает меньше, чем болтовня других соседей. Возможно, если бы это были не русские, а китайцы, мне бы нравилось их слушать еще больше, но мы имеем то, что имеем. Вы не курите?»

Хорошо. Я прошу, чтобы вы мне перевели несколько минут разговора, которые я записал на магнитофон. Я это сделал по одной простой причине: несколько раз было упомянуто мое имя. При этом ничего кроме «здрасьте — до свиданья» мы ни разу друг другу не говорили. Естественно, они прочли мое имя на дверной табличке. Когда я услышал, что они его произносят, мне отчего-то стало страшно любопытно. Если вы согласны, я включу магнитофон. Я заплачу вам за это двести марок».

Я кивнул, и он вставил в магнитофон кассету. Я услышал женский, по-московски немного акающий голос:

— ...да это не имеет никакого значения, что они говорят. Как ты этого не можешь понять?..

Мы прослушали разговор до конца, и я попросил Аттингера перемотать кассету назад и запустить сначала. Мне нужно было немного потянуть время. Я сказал, что буду останавливать магнитофон и переводить по два — по три предложения.

— Но речь действительно обо мне? — спросил он.

— О вас, — сказал я, — о ком же еще. Вы же сами слышали.

Пленка второй раз подошла к концу, а я все еще молчал. Аттингер напряженно смотрел на меня, пытаясь что-то прочесть в моих глазах.

— Они говорили о вас, — сказал я, — коротко это выглядит так: муж сказал жене, что она поглядывает в вашу сторону. Жена ответила, что это — абсурд. Но при этом предложила не произносить вашу фамилию, а в случае, если мужу непременно нужно об этом говорить, называть вас «соседом». Или местоимением третьего лица единственного числа.

После того как я это сказал, белое лицо моего собеседника стало приобретать какой-то оттенок.

— Но они говорили долго, — сказал он, — переведите мне их разговор.

— Вы действительно этого хотите? — спросил я. — Вам может быть неприятно все это услышать. Подумайте, ведь вы же не станете после этого выяснять с ними отношения, вы будете хранить это в себе, а такие вещи вредят здоровью. Кроме того, все, что говорит женщина, отвечая на упреки мужа, может быть так же далеко от того, что она на самом деле думает...

— Я заплачу вам только если вы мне все переведете, — перебил меня Аттингер.

— Хорошо, — сказал я, и он в третий раз перемотал назад кассету. Он дал женскому голосу сказать две-три фразы, нажал на «стоп» и вопросительно уставился на меня. Повторяя эту манипуляцию несколько раз, он узнал наконец то, что хотел узнать. Приблизительно следующее:

«— ...чем меньше ты будешь с ними общаться, тем лучше. Я не хочу, чтобы все говорили...»

— *Что? Ну что? Да это не имеет никакого значения, что они говорят. Неужели ты не можешь это понять? И потом: ну с кем мне тогда прикажешь общаться, а? Со стенами?*

— *По-моему, стены мы уже проходили.*

— *Что ты этим хотел сказать?*

— *Ничего. Не хочу ворошить прошлое.*

— *Ну и не вороши, если не хочешь.*

— *Ты думаешь, я не видел, как ты пристреливалась к этому Аттингеру.*

— *К какому Аттингеру, ты что, сумасшедший?*

— *К Аттингеру, к соседу за стенкой.*

— *За стенкой? Ну тогда нечего кричать его фамилию. Он же слышит.*

— Пусть слышит. Он уже, по-моему, скоро и видеть будет, все время стену сверлит, как будто насквозь пробуравить хочет. Как похолодало, как ты с террасы ушла, так он и заработал дрелью. Мало вам времени, когда меня нет, так вы еще...

— И смешно. И сам смеется. И доволен. Ха-ха-ха.

— Ничего не смешно. Совсем не смешно. Ты забыла, как ты мне клялась в Коломенском, да?

— Ты что, вправду? Ты с ума, что ли, сошел? Да ты его видел? Ну скажи, ну я вообще ни с кем, никогда, всё твои фантазии, паранойя у тебя, еще Димыч тебе говорил, но с ним? Ты его видел? Да он страшной войны. Да я вообще с тобой хотела поговорить, чтобы мы нашли другую квартиру, потому что он — вампир. Ты говоришь — он стенку сверлит, да я сама, я когда в субботу проснулась от этого звука, я думала, я с ума сойду. Когда вспомнила, кто это сверлит, как представила. Мне потом даже снилось, что он по ночам сквозь эти дырки мою кровь пьет. Вставляет туда такой длинный шприц и кровь у меня пьет, как комар, да он похож, посмотри на него, дуремар и вурдалак, вот кто. Такое себе придумать, ты меня этим обидел, понял? Все, не хочу ничего, ну тебя к черту с твоей ревностью, она мне уже знаешь где... Тоже любовника мне подыскал...»

Аттингер выключил магнитофон, достал из кармана две купюры с изображением Клары Шуман и протянул их мне.

Примерно через неделю после этого он позвонил и спросил меня, не могу ли я сделать еще один перевод. Жалюзи были опущены. Горел свет. На экране компьютера было изображение лунной поверхности. Я думал, что на этот раз он обойдет-

ся без предисловия, но я ошибся. «Знаете, вы были правы, — сказал Аттингер, — все это действительно не дает мне покоя. Эта женщина. Вчера было тепло, она весь день была на террасе, говорила по телефону, несколько раз произносила мое имя. Не думайте, что я мазохист. Возможно, вы сами виноваты. «То, что женщина говорит в ответ на упреки...» Вы помните? Я признаю, что плохо в этом разбираюсь. Я даже предполагал, что меня это вообще больше не интересует, по-моему, электронные машины намного интереснее, чем химические... Вы не согласны? Тогда помогите. Я включаю пленку».

Прослушав запись, я сказал: «Давайте мы вот что сделаем. Вы дадите мне лист бумаги, ручку, наушники. Пожалуй, все. И полчаса времени, может быть, немного больше». — «Неужели это так сложно?» — удивился Аттингер. «Да, — сказал я, — потому что она употребляет множество идиом, она играет словами, она пользуется разговорной речью. Хотите, дайте мне кассету, я сделаю все это дома. Но вы, наверно, не хотите, да?» Он немного подумал, а потом принес мне все, что я попросил. Текст, если бы я перевел его дословно, выглядел бы примерно так:

«...да, рыбка моя, помню. Все помню, все знаю. Да, конечно. Договорились. Хотела тебе сказать — на фитнесе, этот мальчик, я тебе о нем говорила. Да. Глаз не сводит. Спрашивал мой, но я не дала, естественно. Дал свой. Нет. Ну как, ну ты знаешь, как это бывает. По Диме скучаю, Дима хороший, скажи? Да, не говори. Я вообще тут. Блин! Это телефон выпал. Слушай, я хотела тебе сказать, что сосед... Ну помнишь, я тебе говорила? Да, Аттингер, запомнила, рыбка моя, ты смотри. Ну вот. Ну да,

смотрит. Я два раза с ним встречалась, случайно, конечно, один раз в подъезде, другой раз в подвале, в келлере, ну да, где стиральные машины. Да ты с ума сошла. Я тебе его когда-нибудь покажу, ты больше не будешь задавать такие вопросы. С ума сошла. Ты бы его видела, когда он взялся мне помочь достать из машины... Ну что ты говоришь, ты что? Послушай. Ну да, помогать. Выслушай. Я не могла открыть машину, которая сушит белье после стирки. У вас нет такой, ну не важно, там тоже барабан, крутится, только без воды. А может, и не крутится. Не важно, в общем, сушилка такая, я не могла ее открыть. Никак, представляешь, а там все белье. И тут вошел этот... Поздоровался. Я не хотела его спрашивать, чтобы... Ну какой мне смысл перед тобой? Я говорю, что есть, перестань, послушай: я его спросила, как мне вынуть из сушки белье. Он сказал, что никогда этими машинами не пользуется. Я сказала, что тогда не надо, буду разбираться сама. Он подошел к машине, нажал на кнопку, на которую я уже нажимала, дернул за колечко, за которое я уже дергала. С тем же результатом. «Поверьте, я умею обращаться с машинами, — сказал он, — я имею дело с гораздо более сложными машинами, я — эксперт...» Что-то такое начал плести, опустил на пол и забегал на четвереньках вокруг машины... Вокруг машины, я тебе говорю. Он пытался под нее заползти, я тебе не могу передать мой ужас, он был такой мерзкий... Ну представь. Да ты с ума сошла! Хватит, я обижусь на тебя, я тебе говорю, это надо видеть. Он превратился в такое насекомое, знаешь, у меня в ванной на прошлой квартире завелись эти твари с множеством ножек, мокрицы, так вот он превратился в такую мокрицу и ползал вокруг

сушилки, ужас, мне хотелось его раздавить каблуком... Знаю, нет, не читала, но знаю точно... Нет, он ничего не сделал, не знаю, с какими он там машинами работает, но тут он ничего сделать не смог. Зашла женщина с третьего этажа, по-моему, я тебе говорила, не то югославка, не то болгарка, да, и она мне помогла. Надо было бросить еще одну монету, только и всего. Еще одну марку. После этого дверца сама открылась. Эта женщина стала рассказывать мне о других машинах, у нас там четыре стиральные и четыре сушильные, и она все знает, у какой что... Аттингер? Он исчез. Заполз под машину. Ну, его уже не было, когда я о нем вспомнила. Нет, нет. А вчера он опять с утра сверлил стенку. Я не знаю, когда он работает. Я не знаю, кого он трахает, меня это не интересует. Я просыпаюсь от этого жуткого звука, Володи нет, мне кажется, вот-вот из стенки вылезет огромное сверло... Я была у дантиста, и когда он мне сверлил зуб, мне показалось, что это сосед своей дрелью... Я открыла глаза и заорала, потому что он тем временем успел надеть такую маску, как у сварщиков... Да нет, какой сосед, зубной врач, все, хватит, я тебя прошу... Да, очень хороший. Не больно. Русский не знает, но я могу с тобой пойти...»

Нельзя сказать, что текст, который я написал для Аттингера, не имел никакого отношения к оригиналу. Декорации остались. Но реплики стали другими. Мне трудно объяснить, почему я это сделал. Дело было не только в деньгах, хотя конечно: возможность регулярно «переводить» Аттингеру монологи его соседки была в этом смысле довольно заманчивой. Я написал такой текст, который явно требовал продолжения, и, покидая в тот вечер квартиру Аттингера, я знал, что

побываю в ней еще раз. На тротуаре было много виноградных улиток. У них нет раковин, только длинные калоподобные тела. Надо было осторожно идти, чтобы не наступить. Прохожих на улице не было. Надо сказать, что район выглядел безлюдным и прилизанным. Или не надо, зачем это говорить? Весь этот город чаще всего выглядит необитаемым. Коричневые кусочки ползли по асфальту. Глядя на них, можно было подумать, что люди на самом деле вымерли, а фекалии ожили. Но эта мысль тоже не казалась оригинальной. Лучше было вообще не думать. Просто идти к машине. Моросил дождь. Я увидел пожилого человека в сером пальто: он стоял на шахматной доске или, точнее, на площадке, на которой играют в шахматы. На ней оставалось несколько мокрых фигур полуметрового роста. Когда-то я пробовал написать рассказ, и не то чтобы у меня не получилось... Скорее наоборот: у меня получилось, и я понял, что только это и было нужно. Узнать, могу ли я написать рассказ. И больше я к этому не возвращался, пока не попал в квартиру Аттингера и не стал делать для него переводы. Оказалось, что «литератор» не умер во мне, а ждал своего часа. Я употребляю это слово в кавычках, потому что у меня не было и нет потребности самому создавать персонажей, придумывать сюжет или еще, чего доброго, — подтекст, надтекст, то, что наносят на бумагу невидимыми чернилами. Нет, эти игры меня не привлекают, и если «литератор» проснулся, то именно потому, что почувствовал ситуацию, в которой ему ничего этого не надо было делать. Только написать несколько монологов, погрузить их в реальность и посмотреть, что будет дальше. Благими намерениями свой подлог я тоже не могу

объяснить, хотя... Глядя, как Аттингер сидит перед экраном и, отдыхая от непрерывного программирования, водит по виртуальным комнатам забавного толстячка по имени Марко, я думал, что точно так же могу управлять самим Аттингером. Марко тыкался в одну дверь, в другую, пробовал окно, ничего не получалось, он высоко подпрыгивал и узнавал таким образом, что в комнате нет потолка. Он приземлялся с другой стороны, шел по коридору, попадал в следующую комнату... Что касается моих соотечественников, поселившихся у Аттингера за стенкой... Конечно, мне не хотелось никаких разрушений, но и разрушать уже вроде бы было нечего — из разговоров Лены с подругами следовало, что она готова изменить Володе с кем угодно. Кроме одного человека — соседа за стенкой. Сосед за стенкой сидел на зеленом шаре и писал программы на языке C++. По ночам он смотрел с орбиты на голубую планету. Он говорил мне, что во время частой бессонницы смотрит третью программу местного телевидения. По этой программе всю ночь показывают то, что передает камера, установленная на искусственном спутнике. Перед глазами у него были очертания континентов, голоса, долетавшие до него снизу, сливались в какой-то непрерывный белый шум... И вдруг в этом шуме он расслышал свое имя. Его серебряная голова на длинной шее удивленно повернулась, бровь приподнялась, дернулся кадык. И он позвал меня и попросил расшифровать сигналы, поступающие с далекой планеты... Он записывал разговоры с помощью микрофона, который он почему-то называл вакуумным. Шнур полз на террасу, микрофон прятался в ботинке. Я не хочу вспоминать тексты, которые выдумывал на ходу. Ниче-

го интересного. Я делал так, что его соседка то и дело рассказывала своей подруге о смешанных чувствах, которые в ней вызывает странный сосед... Чувства, которые я описывал, были более чем смешанные — мне не нужно было, чтобы Аттингер позвонил на следующий день в ее дверь и сказал «Дорогая, я все знаю, я чувствую...». Но нельзя было допустить и того, чтобы он совсем расстроился и потерял интерес.

То, что говорила Лена, было литературнее моих переводов, поэтому я ощущал себя скорее антилитератором. Я убирал из ее речи весьма колоритные сравнения, неожиданные метафоры. Добавлял туманные псевдоромантические намеки, похожие на клише мыльных опер. Воспроизвести полностью ее разговоры было бы интереснее, но, так как это повторялось как минимум десять раз, я не могу вспомнить все, что она говорила. Да, я забыл сказать: она работала косметичкой. Часто в записях, которые делал Аттингер, были только рецепты, советы, например, последний раз речь шла об улыбке, которая при многолетнем употреблении не оставляет на лице никаких следов. Об Аттингере речи давно уже не было, но я сказал ему, что слово «сосед» имеет в русском языке несколько синонимов: «мальчик» (она так называла всех молодых, а может, и не очень молодых людей), «Дима», «жизнь». «Тяжелая жизнь» означало «мой странный сосед». Конечно, Аттингер мог заглянуть в словарь. Но чем я, в сущности, рисковал в этом случае? Так или иначе, два месяца все это работало.

«...ты улыбаешься одними губами, уголками губ. Попробуй. Смотришь в зеркало? Почему недостаточно? Ты неправильно делаешь. Смотри, ты растягиваешь губы в нормальную улыбку, но ты не щуришь гла-

за. Глаза должны сами по себе смеяться, тогда не будет складок. Так, теперь следующий этап. Оттого, что ты растягиваешь губы, тоже будут складки, правильно. Поэтому можно смеяться, нормально, громко смеяться, приоткрывая рот, но не растягивая губы. Вот так: ха-ха-ха! Ну не смейся ты, нет, ты смейся, как я. Попробуй...»

Последний раз я делал перевод у него в машине. Аттингер уезжал во Франкфурт, в срочную командировку. Его звонок застиг меня в «Солитоне». Он подъехал к бару, я сел в машину, вместо бумаги и ручки он дал мне диктофон. Хотел послушать перевод по дороге. Ее разговор он воспроизводил с помощью магнитофона, который был в машине. Мне хотелось, как всегда, вставить несколько фраз о нем самом, но в таких условиях импровизировать было трудно. Я даже подумал, что он меня раскусил и решил загнать в угол. Впрочем, скорее всего, это была моя мнительная фантазия. В машине у него вообще не было углов, все линии были плавными и волнообразными. Мой «опель-кадет» был в ремонте, возвращаться в бар мне не хотелось, я попросил довести меня до метро. Мы ехали молча. Я заметил, что на панели есть экран системы навигации, и попросил показать, как она работает, Аттингер нажал на кнопку, экран засветился коричневатым светом, возникла координатная сетка, и голос сказал: «Через сто метров поверните, пожалуйста, направо». Аттингер объяснил мне, что управление осуществляется через спутник. «Теперь поезжайте, пожалуйста, прямо. Спасибо», — произносил голос с орбиты. Придя домой, я покормил своих рыбок, потом позвонил Нине. По сытым ноткам в голосе подруги в трубке... Я долго не мог уснуть. Я представлял, как Ат-

тингер несется по направлению к Франкфурту. Вместо голоса навигатора — мой голос, или голос Лены, русские слова, смех, не оставляющий морщин...

А потом он исчез. Он не звонил. Возможно, он обнаружил подвох — с помощью словаря или объяснившись наконец со своей соседкой. Признание было безответным, и переводы больше не нужны... Он мог заглянуть в словарь, найти другого переводчика, мог просто все выкинуть. А вдруг небезответно... В сущности, ее слова можно было трактовать совсем иначе... Что я и делал... Может быть, я писал то, что она на самом деле думала... А что тогда муж..: Я терялся в догадках, Аттингер не звонил; Нина тоже не звонила и не отвечала на звонки, у меня было дурацкое ощущение — как будто мы с Аттингером вышли, взявшись за руки, в открытый космос и случайно оторвались от орбитальной станции.

В баре было слишком много посетителей. Периодически раздавался звонок, загоралась красная лампочка, Кристиан шел к двери, открывал ее и объяснял, что мест нет. Он впускал только завсегдатаев. Он впустил Нину. С ней был мужчина невысокого роста, в коротком пальто, в шляпе с большими полями. Нина сделала вид, что не ожидала меня увидеть. Подольского она поцеловала, а меня нет — мы пожали друг другу руки. Разговор не клеился, человек, сопровождавший Нину, допил свое пиво и что-то сказал ей на ухо. Нина спросила, не хотим ли мы поехать с ней и Манфредом в другое место. Когда мы вышли из бара, Подольский сказал, что плохо себя чувствует. Не могу ли я завтра его заменить? Да, сказал я, конечно. Нина и ее приятель стали проявлять не-

терпение, но Подольский махнул рукой. «Зачем они тебе нужны? — спросил он по-русски. — Он под кокаином или на «колесах», Нина — не знаю, я никогда ее не понимал, и тебя не понимал, когда ты с ней...» — «Ты видишь, все это уже в прошлом, — сказал я, — какая теперь разница?» — «Мне они не нравятся, я посмотрел на его глаза...» Я уговорил Подольского не придавать этому такого значения, а объяснить наконец, как мне завтра найти больного. Подольский написал на бумажке номер отделения, фамилию, имя-отчество и пошел к метро, а я сел в «порше» мышиного цвета. «Ненадолго, — сказал я, — мне завтра рано вставать». — «Конечно, ненадолго, — сказала Нина, — выпьем за мой день рожденья и отвезем тебя. Где стоит твоя машина?» — «Она в ремонте, — сказал я, — у тебя день рожденья? Я не знал». — «А что ты обо мне знал? — спросила Нина. — Ты ничего обо мне не знал». Мы выехали на шоссе. Стрелка на спидометре приблизилась к отметке 290. Нина положила руку на пах Манфреда, растегнула змейку и достала его член. Она держала его точно так же, как Манфред ручку переключения скоростей. Стрелка спидометра дернулась и поползла дальше: 290, 295, 310. Манфред застонал. «Многоуважаемый господин Аттингер, — написал я, придя домой, на бланке со своим персональным грифом, — я теперь охотно верю, что электронные машины интереснее, чем химические. Я верю, что они идут нам на смену. Но то, в чем я хочу вам признаться, вся эта игра в испорченный телефон, началась, когда я стоял перед аквариумом с существом, которое может послужить нам примером... Весь последующий бред как-то связан с этой странной рыбой, перевязан

жгутом ее тела...» Я не отправил письмо, даже не дописал.

Весь следующий день я провел в клинике, в очередной раз заменяя Подольского. Гена работает переводчиком в фирме «Оникс», при содействии которой русские ездят лечиться за границу. Те, кто может себе это позволить. Большею частью это очень тяжелые больные. Гена впечатлительный, эта работа ему не подходит, но никакая другая не светит. Немецкий у него до сих пор довольно неважный. Я, в отличие от него, профессиональный переводчик, у меня есть лицензия, печать. Я заканчивал иняз. По-моему, я уже об этом говорил. Когда Наталья Константиновна сказала, что переводчик ей на сегодня больше не нужен, за окном палаты было темно. Несколько раз свернув туда, куда показывала стрелка перед изображением бегущего человечка, я очутился в коридоре со стеклянной стеной. Парень с сигаретой в зубах прошел наружу сквозь открытую секцию, я последовал за ним. Это был не выход к стоянке, вообще не выход, а вход. То, что в России называют санпропускником. Парень выкурил полсигареты и вернулся в коридор, а я прошелся по площадке. За ней начинались поля, затопленные лунным светом. Обернувшись, я застыл, пораженный мрачной монументальностью здания. Оно казалось мне нереальным. Я видел его в какой-то компьютерной игре. За моей спиной раздался звук мотора. Это была не «скорая помощь», а маленький черный «гольф». Он въехал на площадку и остановился прямо передо мной. Из него вышла женщина в темном пальто. Возможно, она раньше работала в этой больнице. Во всяком случае, она знала, как там все устроено. Она потянула за цепочку, и стеклянная секция ста-

ла подниматься. Женщина зашла внутрь и быстро пошла по коридору. В машине на переднем сиденье сидела девушка. Черты ее белого лица казались славянскими. Глаза были закрыты, голова свисала набок, тело держалось на ремне безопасности. Я вспомнил соседку Аттингера. Я никогда ее не видел, но по законам мелодрамы это вполне могла быть она. В памяти всплывали слова. Я не знал уже, перевел ли я их или заменил другими. *«...я тебе говорю, там самые лучшие цены. Почему ты мне не веришь? Где ты покупала за двадцать марок? Где-где? На углу возле ВОТ-центра? А ты знаешь, что это за магазин? Это — магазин для покойников. А вот так. Учись читать. Не обижайся, послушай. Я не шучу, там покупают косметику для покойников — их прихорашивают напоследок, поняла? Теперь ты будешь меня слушаться? Не плачь. Я тебе говорю, у «Мадам Брессон» хороший выбор и низкие цены...»* Женщина в черном пальто выкатила на улицу кресло на колесиках, вынула девушку из машины, посадила ее и быстро повезла к стеклянной стене. Дернула за цепочку. Ее движения были деловитыми и быстрыми. Как будто она подъехала к супермаркету, взяла тележку и покатила ее между полками. Гигантское металлическое здание больницы, бетонный шлюз, полнолуние... Я не знаю, как это все... Как это будет по-русски. По-немецки? *Das weiss ich auch nicht. Vielleicht das — der Weltschmerz? Nein, etwas anderes**. Крутятся какие-то слова, но я не могу их поймать. Я даже не знаю, из какого они языка... Я примерно одинаково говорю на четырех языках, еще на пяти я могу читать... Женщина в темном пальто уже садилась в машину. Черный

* Тоже не знаю. Мировая скорбь? Нет, что-то другое (нем.).

«гольф» развернулся и поехал по широкой бетонной полосе, которая от края площадки круто шла вниз и исчезала в жерле тоннеля.

Я начал писать это подобие дневника, когда Подольский подбросил мне очередную халтуру. Я перевожу все что угодно: метрики и свидетельства о смерти, исследования метрических пространств и грамоты, выданные клубами служебного собаководства. Я делаю это очень быстро и аккуратно, ко мне никогда нет никаких претензий. Первый раз я позволил себе вольность. Претензий, впрочем, и на этот раз не было. Клиент просто не звонил мне больше, он оставил меня со всей этой историей наедине. Я начал превращать ее в рассказ. Пока мне все это не осточертело окончательно. Надо было прекратить заполнение образовавшейся дыры своими собственными впечатлениями. Поэтому я сел в машину и поехал к Томасу Аттингеру. На звонок откликнулась женщина какой-то южной национальности, судя по произношению, она была из Испании или Латинской Америки. Она впустила меня в подъезд и сказала, что бывший жилец съехал. Куда? Этого она не знала. Он не оставил никаких координат. В подъезде пахло стиральным порошком. Смуглая женщина стояла, сложив руки на груди. Ждала, когда я уйду. Я позвонил в соседнюю дверь. «Они тоже переехали, — сказала женщина, — а новых жильцов еще нет. Там никто не живет». Я вышел на улицу, сел в машину и поехал к трассе. Потом развернулся и сделал круг. Я увидел, что с другой стороны дома начались ремонтные работы. Стена была покрыта лесами, обтянутыми полиэтиленом. Что-то грохотало. Вдоль лужаек на тротуаре были выставлены полосатые столбики, между ни-

ми протянута желтая лента. По ней шли какие-то черные буквы, название фирмы или что-то в этом роде. Она обрывалась, бóльшая часть ее лежала на земле. Я подумал, что она похожа на увеличенную диктофонную пленку. И проявленную. Или на порванные силки. Что произошло, кто переехал, с кем, зачем и куда... Меня оставили без ответов на все эти вопросы. Шел слепой дождь. Мне оставалось только сравнить обрывки ленты, лежащие на дороге, с сообщениями огромного телетайпа, развести руками, надеть темные очки и включить дворники.

ДВОЙНИКИ

Через полчаса он снова пошел к выходу. На этот раз его не уговаривали остаться, да и вообще, похоже, никто уже не замечал никакого Шпенглера. Возле подъезда стояли газетные автоматы, Шпенглер подошел к ним, чтобы почитать завтрашние заголовки, но букв заголовков ему оказалось мало, и он купил целую газету. Полистал, стоя под фонарем, и уже намеревался бросить ее в ближайшую урну, когда что-то привлекло его в разделе объявлений. Сложив лист с объявлениями несколько раз, Шпенглер сунул его в карман. Он еще и сам не знал, что его там заинтересовало — возможность с кем-то познакомиться или получить то же самое за деньги, без всякого знакомства. Он поднял руку, и возле него остановилось такси. «Куда?» — спросил водитель. «Я еще точно не знаю, — сказал Шпенглер, — поехали, я скажу по дороге». — «Сначала скажите», — заупрямился водитель. Шпенглер достал из кармана лист с объявлениями, развернул и нагнулся к свету. «Ах, ну да, — сказал таксист, — садитесь». Шпенглер сел на переднее сиденье, выбрал одно из тех объявлений, в которых обещают исполнить самые тайные желания, и протянул лист водителю, указывая на объявление пальцем.

В машине он почувствовал, что хочет спать, но, закрыв глаза, увидел такие четкие картинки, что перестал понимать, где находится центр тяжести. Это было странно, потому что, насколько он помнил, в этот день он ничего такого не курил. Он от-

крыл глаза и, чтобы вернуть равновесие, закурил сигарету и начал разгадывать кроссворд, который нашел на обороте газетного листа. «Покажите мне еще раз адрес», — попросил водитель. Шпенглер перевернул лист, побежал глазами по объявлениям и понял, что уже не может найти то, что выбрал несколько минут назад. «Я не помню, какое именно я вам показал», — признался Шпенглер. «И я не помню», — сказал водитель, заглянув в газету, при этом он затормозил. «Куда же вы тогда ехали?» — спросил Шпенглер. Таксист пожал плечами. «Мы поедем туда, куда я сказал, или никуда не поедем», — сказал Шпенглер. «Все ясно», — сказал таксист, и они поехали. Шпенглер подумал, что никогда не узнает, привез его таксист туда, куда они ехали вначале, или в другое место, таксисты наверняка знают уйму подобных мест. Но, по крайней мере, ехали недолго.

Он прочел на табличке надпись «Массажный салон», поморщился, но, подумав немного, нажал на кнопку звонка. В домофоне раздался женский голос. «Вы давали объявление о выполнении тайных желаний?» — спросил Шпенглер. «Да, — сказал голос в домофоне, — заходите». Дом был трехэтажной бетонной коробкой. Стены внутри, ступеньки, все было из бетона. Черная дверь на третьем этаже была металлической. Разглядывая узор покрывавших ее царапин, Шпенглер тоже хотел было поскрестись, но как раз когда он поднес руку, дверь приоткрылась. «Ты здесь одна?» — спросил Шпенглер, переступив порог. Девушка ему не понравилась, и он хотел узнать, есть ли выбор. «Не совсем, — сказала она, — со своей собакой. Хочешь с ней познакомиться?» — «Не очень», — сказал Шпенглер. «Собака из России, —

сказала девушка, — вон она, смотри». Шпенглер увидел гигантскую лохматую собаку. «Там такие пасут овец», — сказал Шпенглер. Они прошли по коридору, оклеенному фотообоями (композицию их трудно было понять, коридор был для этого слишком узкий), в большую комнату, где Шпенглер сел на скамейку. Девушка не была красивой, хотя некрасивой ее тоже нельзя было назвать, а неожиданные для Шпенглера насмешливые глаза не дали ему решить, что она никакая. Она перехватывала каждый взгляд Шпенглера, когда он рассматривал обстановку комнаты, — и смотрела туда же. При этом глаза ее не переставали смеяться. Она села напротив Шпенглера в кожаное кресло. Русская собака осталась стоять, рассматривая Шпенглера своими медвежьими глазами.

— Окей, — сказала девушка, — меня зовут Сабина. Тебя?

— Какое совпадение, — промолвил Шпенглер.

— Тебя тоже зовут Сабина?

— Нет, меня зовут Мартин.

— Чего ты хочешь, Мартин?

— Не знаю, — сказал Шпенглер, — по-моему, ничего.

— Зачем же ты пришел?

— Прости, — сказал Шпенглер, — я хотел. Я сидел у друзей, и вдруг мне захотелось, но по дороге... Как ты думаешь?

— Ты смешной, — сказала она.

— Скажи мне, сколько это стоит?

— Это стоит 200 марок. Французский вариант 150 марок. Ручная работа стоит 100.

— А время, сколько времени это будет продолжаться, не играет роли?

— Пока ты не кончишь. Но не больше пятнадцат-

цати минут. Мой час стоит 600 марок, радость моя. Есть у тебя такие деньги?

— Давай начнем, а там будет видно.

— Давай. Давай деньги.

— Сейчас, — сказал Шпенглер и достал кошелек.

— Вот черт! — воскликнул он. — У меня с собой всего лишь пятьдесят. Прости, я как-то не подумал. Что же делать? Карточкой нельзя расплатиться?

— Можно, — сказала она, — можно расплатиться карточкой.

Она встала и подошла к Шпенглеру. Сбросила красное платье, спустила черные кружевные трусики, дала им соскользнуть на пол и переступила через них. Лобок у нее был чисто выбрит, на животе виднелась бледная татуировка — морской конек, сквозь пупок было продето колечко. Линия бедра, талии... Шпенглер подумал, что все соответствует тем пометкам, которые его взгляд, подобно мелку портного, сделал на ее платье.

— Давай свою карточку, — сказала она.

— Я выйду, сниму деньги и вернусь, — сказал Шпенглер.

— Зачем? Ты можешь расплатиться прямо здесь, какая разница.

Шпенглер подумал и достал карточку из кошелька.

— Ну вот, — сказала она, — а теперь вставляй ее сюда. Да-да, ты правильно понял. Вот так. Аккуратно, в автомат ты же ее не толкаешь силой. Для исполнения своего тайного желания ты должен сказать свой тайный номер. Ты его еще помнишь? Да? Ты уверен? Ну тогда скажи.

— Четыре, один, девять, шесть, — сказал Шпенглер.

— Берта! — крикнула Сабина. Собака мгновенно оказалась прямо перед Шпенглером. Она бесцеремонно выдыхала ему в лицо горячий воздух. Шпенглер отвернулся. Ему снова все стало безразлично, желание, переполнявшее его, когда он вставлял карточку в Сабину, исчезло. Карточка теперь была у нее в руке.

— Ты остаешься здесь вместе с Бертой. Не вздумай с ней шутить, если только твоим тайным желанием не было лишиться яиц, — сказала Сабина, быстро набрасывая на себя платье, — я сейчас приду, только посмотрю, что у тебя на счету и хватит ли этого, чтобы мы не сдали тебя полиции.

— Меня?! — воскликнул Шпенглер. «Тебя!» — рывкнула Берта. Сабина уже не было в комнате. Он закрыл глаза и стал растирать себе виски. Перед глазами Шпенглера появилось озеро в Английском парке. По воде плыли лодки, катамараны и лебеди. В биргартене на берегу было много людей, за одним столом он увидел девушку со светлыми волосами, повязанными легкой косынкой. Она наклонила свою полупустую кружку, внимательно в нее посмотрела, засунула руку и что-то достала двумя пальцами, какое-то насекомое. Подбросила его в воздух. Шпенглер спросил разрешения, она молча кивнула, и он сел за стол. Прежде чем принести себе пиво, он хотел познакомиться, но ничего подходящего не приходило ему в голову. Мысли крутились вокруг осы, которую спасла девушка. Или это оса теперь висала вокруг его головы. Он отмахнулся от нее, встал и тут увидел, что у озера стоит несколько бело-зеленых полицейских машин. Девушка обернулась и посмотрела туда же.

— У фараонов проблемы, — сказал Шпенглер и хотел продолжить, но заработал громкоговори-

тель, и девушка жестом попросила его помолчать. Он кивнул и пошел за пивом. Стоя в очереди, он наблюдал за девушкой. Он увидел, как она заглянула в пачку, скомкала ее, обернулась, стрельнула у сидящего за соседним столом мужчины сигарету и закурила.

— Ну и о чем они говорили? Я прослушал, — сказал Шпенглер, ставя на стол поднос.

— Что где-то здесь сейчас находится опасный человек. Он убивает женщин.

— А что еще говорили?

— Тебе мало?

— Нет, но говорили долго.

— Все остальное — это было описание его внешности.

— И каковы его приметы?

— Я не буду все пересказывать, ладно? Скажу только, что они в точности описали тебя.

— Ты шутишь?

— Уходи, а то тебя схватят.

— Сначала выпью пиво. Если спешить, будет еще хуже.

— Разве тебе плохо? Да нет, ты не похож на Мосбругера.

— Меня зовут Мартин, — сказал Шпенглер.

— Скорее на человека без примет, — задумчиво сказала она, — а такого трудно запеленговать громкоговорителем.

— Как тебя зовут?

— Меня зовут Сабина. Собственно, почему бы и нет?

Конечно, это «почему бы и нет» не имело никакого отношения к имени, но Шпенглер этого не понял и сказал:

— Красивое имя. Мне нравится.

Теперь он сам был зрителем, слышал реплики, направленные в зал, и понимал, что на них не нужно было отвечать. Озеро темнело, лебеди и лодки превращались в огни, растекавшиеся по воде. Услышав громкие шаги, Шпенглер открыл глаза. Он увидел перед собой розовый язык, свисавший из пасти, в которой могла бы поместиться его голова. В комнату вошла другая Сабина.

— На твоём счету ничего нет! — сказала она, отдавая ему карточку. — Минус сто двадцать марок. Твои дела плохи. Я тебя сразу узнала и хотела вызвать полицию, а потом подумала, что правильнее будет, если ты за все заплатишь мне и родственникам Ангелики. Я понесла из-за тебя большие убытки, понял? Но тебе нечем платить. Или есть?

— Я не знаю, что произошло, — сказал Шпенглер, — но скажи мне, когда это произошло?

— Пятнадцатого августа, почти три месяца назад. Можно подумать, ты не помнишь. Хотя все может быть, ты же сумасшедший, иначе бы ты не пришел сюда второй раз. Но зато я все помню, слышишь!

— Три месяца назад меня здесь не было. Я могу это доказать — тебе достаточно посмотреть на отметки в моем паспорте.

Шпенглер достал паспорт из внутреннего кармана куртки и протянул его Сабине.

— Пятнадцатого августа я еще был в Иоганнесбурге, — сказал Шпенглер, — фирма, в которой я работаю, открывает там свой филиал. Я уехал в начале августа, а приехал неделю назад. Посмотри на штампы, и ты в этом убедишься.

— Ну и как там?

— В Иоганнесбурге? Паршиво. Я чуть с ума не сошел, хотя сам напросился поехать, мне надо было немного развеяться.

- Кто же тогда здесь был, если не ты?
- Не знаю. А что он сделал?
- Не важно. Прости меня, ладно?
- Ладно, — сказал Шпенглер, — я пойду.
- Постой, — сказала Сабина, — ты не хочешь?
- Ты же говоришь, что у меня нет денег.
- Я думаю, что это не единственная твоя карточка. Или на остальных тоже минус?
- Сегодня всё с минусом. На улице минус два. Смотри, на часах перед цифрами тоже стоит минус.
- Нет, это первая цифра не полностью высвечивается. Я расскажу тебе, что случилось. Человек, похожий на тебя, убил Ангелику. Катя и Сюзен после этого боятся здесь работать.
- А ты?
- Это мой салон. Обычно я делала только массаж, а девочки и массаж, и все остальное. Мне деться некуда. Надо искать других девочек.
- А где же была ваша собака? — спросил Шпенглер.
- В прихожей. Ангелика не успела закричать, мы не слышали ни звука. Когда мы вошли, его в комнате не было. Он задушил ее и выпрыгнул в окно.
- Я пойду, — сказал Шпенглер, — я вышел на минутку купить сигареты. Меня ждут.
- Как хочешь, — сказала она, — можешь прийти в другой раз.
- Да? А как ты узнаешь, я это или он?
- Попрошу назвать тайный номер. К тому же Берта теперь всегда рядом со мной, и если это будет он, ему несдобровать. Некоторым, правда, не нравится, что Берта присутствует, но это — их проблемы, а я больше не хочу рисковать. Берта не мешает, она хорошо себя ведет.

— Можно ее погладить?
— Лучше не надо.
— Я заеду. Может быть, завтра? Напиши мне телефон.

— Он есть в объявлении.
— Я боюсь, что второй раз не найду его.
— Я думала, что текст моего объявления невозможно ни с чем спутать.

— Да? Может быть. Но будет лучше, если ты напишешь. А сейчас я ужасно устал, я могу уснуть в любую секунду: Можно я вызову такси?

Сев в такси, он назвал адрес и подумал, что это уже полный бред, потому что даже если не все потеряно и еще можно убедить ее, что им нельзя разбегаться, что от этого по миру ползет трещина, в которую попадают другие, все равно, все это нужно доказывать ей совсем в другом состоянии, в другое время и в другом месте. На нейтральной территории. В одном из их любимых кафе или... Но машина уже подъезжала к дому.

Шпенглер зашел на террасу. Жалюзи над стеклянной дверью были опущены, и на окнах тоже, за исключением одного окна в спальне. Кто-то произнес над ним «Добрый вечер», подняв голову, он увидел соседа с верхнего этажа. «Добрый вечер», — сказал Шпенглер, доставая из кармана сигареты. Пачка была пуста. «Вы не могли бы бросить мне одну сигарету?» — спросил он. «Вы же просили меня не бросать их на террасу», — сказал сосед и тихо засмеялся. «Окурки, — сказал Шпенглер, — а целые можно». — «Ловите». Шпенглер поймал сигарету, закурил и подошел к окну. Сабина спала на спине. Книга лежала на второй подушке, торшер, стоявший за спинкой кровати, был так изогнут, что светил прямо Шпенглеру в лицо, но это не ослепи-

ло его, лампочка была слабой. Все же он сразу отвел глаза, заметив только, что Сабина спит с приоткрытым ртом. Он громко постучал в окно. Сабина не проснулась, но, как это часто бывало и раньше, начала разговаривать во сне. Шпенглер приложил ухо к стеклу и услышал:

— Открой ему. Пусть он войдет. Ты слышишь...

Шпенглер снова стал стучать, Сабина перевернулась на бок, не открывая глаз, припав к стеклу, он услышал:

— Мартин, почему ты не открываешь ему? Ты же сказал, что ты откроешь дверь. Открой,пусти его в дом...

Шпенглер отошел от окна и стоял, слушая, как бьется сердце. Как будто кто-то продолжал стучать по стеклу. Потом он пересек быстрыми шагами маленькую черную лужайку и очутился на тротуаре. Дойдя до трассы, он поймал такси.

GERMAN AFFAIRS*

...одно совпадение: как раз когда Клаус дошел до площади, на башне ратуши ожили фигурки, а люди внизу застыли, глядя вверх.

Фигурки шли в танце по кругу.

Колокола вызванивали какую-то знакомую мелодию, Клаус пытался вспомнить, что говорил ему отец про этих кукол.

Что они разыгрывают свадьбу. Но чью?

— Простите, вы не знаете, случайно, чью свадьбу изображают фигурки? — спросил Клаус человека, который хотя и стоял задрав голову, как прочие заполонившие площадь туристы, выглядел при этом как настоящий баварец. На его зеленой шляпе была даже черная пышная кисточка из бороды антилопы.

— Знаю, а как же, — сказал туземец, бросив на Клауса хитроватый взгляд, — это твоя свадьба.

Клаус улыбнулся и пошел ко входу в метро.

Здание, в котором читали курс, было стеклянным кольцом. Оно окружало запорошенные снегом ели, фонтан, забитый на зиму досками, абстрактные бронзовые скульптуры.

То, о чем говорил лектор, было неинтересно,

* Основные словарные значения английского существительного affairs: 1. дела, занятия, заботы; 2. сердечные увлечения, адюльтеры; 3. случаи, истории; 4. поединки, стычки, сражения; 5. обряды, церемонии.

Кlaus зевал и поглядывал в окно. Ему нравилось, что противоположная стена отражает небо и что дубликат примыкает к подлиннику так плотно. Границы вообще не было бы видно, если бы не облака — они в этом месте расползались в разные стороны.

У лектора была странная манера не договаривать до конца. Начиная фразу, он умолкал и делал руками жест, каким показывают водителю, что надо сдать немного назад, — пока фразу не заканчивал кто-то из слушателей.

Еще в поезде Klaus позвонил однокласснику, который когда-то переехал в Мюнхен. Договорились встретиться в восемь часов возле ратуши. Других знакомых у Klaus в этом городе не было. После занятий он решил не заходить в гостиницу. Снег продолжал падать, улицы были безлюдны, немного поблуждав по ним, Klaus вошел в ресторанчик, оказавшийся внутри похожим на старый платяной шкаф. За пазухой заиграла мелодия Брамса. Он достал оттуда маленький телефон, приложил к уху и услышал механический голос своего «почтового ящика».

— Имеется новое сообщение для Klaus Тропфмана, — сказал голос, — полученное сегодня, пятнадцатого декабря, в восемнадцать часов тридцать одну минуту. Вот оно, это сообщение.

Голос замолчал, и за ним ничего не последовало. Далекие гудки машин, шорохи. Чье-то дыхание, или просто ветер. Прошло довольно много времени, прежде чем Klaus глянул на дисплей и увидел надпись «Нет сети».

Странно, что волна пробилась сквозь каменные складки только для того чтобы я услышал шум ули-

цы, — думал он, глотая черное пиво, — или я придумал этот шум, ведь связь оборвалась, а я продолжал его слышать.

Время текло медленно. Глянув на часы, Клаус подумал, что они остановились. Секундной стрелки не было вовсе. Усик минутной шевельнулся.

— Ты совсем не изменился, Санта Клаус, — проговорил Ахим, рассматривая одноклассника, — куда же мы с тобой пойдём? Мы хотим есть или только пить?

— Я бы поел, — сказал Клаус.

— Тогда мы пойдём в «Лозанну». А потом заглянем в другие места. Ты посмотри, какой снег! Ну как тебе город? Я помню, в школе ты говорил, что он не произвел на тебя впечатления.

— А теперь мне нравится. Сам не знаю почему.

— Может быть, тебе нравится не город, а снег?

— Не только. Вот это тоже, — Клаус показал рукой на новую ратушу, — какая-то запоздалая готика...

«БМВ» Ахима была обута в зимние шины и, в отличие от соседней, отчаянно буксовавшей машины, сразу тронулась с места. Дворники вырыли из сугроба, лежавшего на лобовом стекле, красные огоньки, из динамиков зазвучала музыка Карла Орфа. Началось кружение по вылепленному из снега городу.

В ресторане Клаус не успел высказать официанту свое желание — у него зазвонил телефон. Последовала немая сцена — Клаус слушал телефон, официант стоял и смотрел на Клауса, а потом они жестами договорились, что официант выполнит сначала заказ Ахима.

Это снова был «почтовый ящик», предлагавший прослушать сообщение.

Сообщение было тем же самым.

Когда оно закончилось, голос сказал: «Вы находитесь в главном меню. Для того чтобы прослушать старые сообщения, нажмите «2»...» Клаус нажал на кнопку, означавшую «нет».

— Что-то серьезное? — спросил Ахим.

— Ты о чем?

— Звонок изменил выражение твоего лица.

— Да нет, это пустое сообщение. Мне сказали, что я нахожусь в главном меню, — улыбнулся Клаус, взяв папку с меню в руки, — *the rest is silence**. Мне, пожалуйста, блюдо номер 57, — сказал он принесшему пиво официанту.

— *Prosit!* — сказал Ахим, поднимая кружку. На нем был светлый свитер, бритая голова торчала из высокого ворота, как яйцо из стаканчика.

— Правда, что ты ушел из большой науки? — спросил Клаус.

— О, не надо этих звуков, — поморщился Ахим, — какой такой большой науки, я тебя умоляю. Предметом моих последних исследований были памперсы.

— Но я слышал, что ты занимаешься квантовой механикой в институте Макса Планка.

— Говорю тебе, все это в прошлом. Теперь я связан с ней только тем, что передвигаюсь на машине, сделанной на заводе семьи Квант.

— Чем ты зарабатываешь?

— Компьютерными программами, как и ты.

* дальнейшее — молчание (англ.).

Только ты их пишешь, а я продаю. Я открыл свою фирму. Понимаешь, мне осточертело вдруг слоняться по коридорам, грызть ногти, сидеть — я поседел, защищая свой диплом, при этом я вдруг понял, что еще ничего не видел в жизни, что жизнь вообще уходит мимо... У меня начались депрессивные состояния, я вспомнил, что у истоков этой механики стояло много самоубийц, заметь, так же как у истоков психоанализа... Я бросил аспирантуру и записался в школу танцев. Вступил в кулинарный клуб. Да, да. Ну, а потом как-то сам собой пришел этот цифровой бизнес... Перед тем как ты позвонил мне, я собирался тебя разыскать. Как ты относишься к тому, чтобы переехать?

— Давай мы это обсудим через день, — сказал Клаус, — я ведь буду здесь до пятницы.

— Как тебе будет угодно, — кивнул Ахим. Видно было, что он настроен был сразу говорить по существу и теперь не знает, как продолжать беседу. Но через несколько мгновений он вспомнил, с кем разговаривает.

— Как Анчи?

— Неплохо, — ответил Клаус.

— Чем она занимается?

— Фотография, дизайн, всем понемногу...

Расплатившись, они поехали в «Контра-бар». Там была живая музыка. Клаус сел за столик, а Ахим пошел искать друзей. Клаус подумал, что это непросто в такой толчее, особенно когда на сцену вышла вторая группа и начала играть тяжелый панк-рок. Фаны повскакивали с мест и запрыгали в бешеном темпе по залу. «Я — конечный, — кричал вокалист, — в гондон... я пытаюсь порвать резину тянущихся дней...»

— Я их не нашел, — сказал Ахим, — и я предлагаю тебе поехать в другое место. Кофе здесь плохой, ты бы лучше вздремнул в машине.

— Мы спешим?

— Мы не спешим, но разве тебе не хочется сбежать от этой дебильной музыки?

— У них неплохие слова, — сказал Клаус.

На улице все еще шел снег. Ахим, прежде чем включить дворники, очистил стекло щеткой. Клаус увидел пару, идущую им навстречу. У женщины было темное от загара лицо и светлые локоны. Она подставляла ладонь снежинкам и смеялась. Лицо мужчины было похоже на маску — пластмассовый нос, усики, очки без стекол. Жители ночи, — подумал Клаус, — вот они. Прислушавшись к музыке, он спросил Ахима:

— Ты перемотал назад?

— Нет, тебе кажется, потому что эта оратория — классический пример остинато. Все повторяется. — И он покрутил пальцем в воздухе.

Клаус закрыл глаза. Снаружи то же, что и внутри, вверху то же, что и внизу, — пробормотал он, — справа то же... Он открыл глаза и увидел, что ночь снаружи состоит из снежинок, которые с огромной скоростью несутся ему навстречу.

— Я попробую дозвониться к Анне, — сказал Ахим.

— Почему ты это не сделал сразу?

— Потому что игрушка ей надоела, и чаще всего она ее с собой не берет.

Ахим нажал на кнопку и приложил телефон к уху.

— Ага, — закричал он, — я тебя нашел! Ты где? Все вместе? Мы едем. Увидишь, мой старый друг.

Я не знаю, почему такой звук, нет, я не на другой планете, я скоро буду.

Он выключил телефон и сказал:

— Они в кафе «Глокеншпиль». Это прямо на Мариенплац. Там сегодня какая-то вечеринка. Прости, я тебя утомил этим кружением, но у меня сейчас такая сумасшедшая подружка, ее все время надо где-то ловить...

Анна танцевала, подняв руки. Возле нее увидался маленький кучерявый японец. С потолка свисали блестящие трубочки, их задевали руки Анны и других танцующих. Ахим что-то заказывал у стойки, Клаус пошел к нему, попутно рассматривая публику. Взгляд его остановился на одной женщине, потом на второй, с нее соскочил на третью, но и там надолго не задержался. Одна была лучше другой, хотя, конечно, все это зависело от ракурса, от того, как падал свет, от музыки. Мелодия «нового танго» оживила и раскрасила сразу нескольких женщин, которые до этого были незаметны. Мужчины были тоже весьма добротные, в среднем сорокалетние: стальные глаза, бронзовые лица, дорогая шелковая одежда. Чтобы это не выглядело слишком скучно, в толпе появлялись и другие персонажи. Было три фальшивых матроса с довольно развратными физиономиями. Клоун, шептавший дамам на ухо какие-то остроты.

Клаус заметил, что Анна и Ахим зовут его в свой кружок, и ответил им жестом, означавшим, что он не хочет танцевать.

Он пошел к окну, раздвинул шторы и увидел прямо напротив себя освещенную прожектором ратушу. Ниша, в которой стояли фигурки, казалась входом в пещеру. Башня ратуши выглядела

одинокой скалой. Рядом с Клаусом остановилась какая-то женщина. Клаус задал ей вопрос, ответ на который он уже вроде бы получил утром на площади. «Они разыгрывают не свадьбу, а рыцарский турнир, — сказала женщина, — хотя постой, он действительно посвящен свадьбе». — «Чьей?» — «Не помню. Часть фигурок исполняет танец бочаров. Ты не мог бы меня прикрыть?» — спросила она. — «Я хочу понюхать снег». — «Как мне это сделать?» — спросил Клаус, не понимая, какой снег она имеет в виду. «Просто стань вот сюда и говори со мной», — сказала она, доставая что-то из сумочки. «О чем?» — спросил Клаус. «О чем хочешь, — сказала она, вставляя в ноздрю маленькую трубочку, — можешь загадать желание». Клаус молчал. Женщина приставила другой конец трубочки к поверхности зеркала. Втянув в себя все, что там было, она спрятала зеркальце и трубочку в сумку, виновато пожала плечами и отошла.

Клаус попытался найти ее в толпе, но его взгляд перехватила высокая девушка с длинными рыжими волосами. В первый миг Клаусу показалось, что она танцует, на самом деле она стояла неподвижно у стенки и смотрела на него смеющимися глазами. К ней подошел клоун и, поднявшись на цыпочки, стал что-то шептать на ухо.

Клаус подумал, что рыжая девушка нравится ему, но как бы не в первую очередь. Он сказал об этом Ахиму. За рыжую вступилась Анна: «Вы ничего не понимаете, это же королева бала!» Клаус посмотрел на девушку. Ему показалось, что она слышала их разговор, хотя этого не могло быть — они стояли в разных концах зала, между ними были десятки плескавшихся в музыке людей.

Она сама подошла к нему и сказала: «Многие перешли в «Шуманс». Не хочешь пойти туда?» Клаус обернулся к Анне и Ахиму, но они куда-то пропали. Он сказал, что пойдет, только ему надо попрощаться с друзьями. «Я подожду тебя внизу», — сказала она.

Когда Клаус через несколько минут спустился на площадь, он увидел там рыжую девушку, стоящую рядом с велосипедом в окружении нескольких мужчин. Все они были ниже её ростом.

Увидев Клауса, девушка помахала ему рукой, толкнула велосипед и пошла. Вслед за ней двинулась вся процессия. В числе сопровождавших был и кучерявый японец, которого Ахим назвал великим художником. «Вот кому это должно быть интересно, — подумал Клаус, — а мне это не нужно». Погружаясь в сугробы, он догнал ее и сказал: «Прости, но я возвращаюсь к друзьям». — «Почему?» — спросила она. «Честно говоря, я себе все это представлял немножко по-другому». — «Но подожди, — сказала она, толкая велосипед, — все будет так, как ты представлял, как же иначе? Как тебя зовут?» — «Меня зовут Клаус. И мне надо идти. Меня ждут. Я желаю тебе приятно провести вечер». — «Я тебе обещаю, что именно так я его и проведу», — улыбнулась она. Клаус повернулся и пошел назад.

С друзьями он столкнулся на лестнице, оказалось, что они хотят отдохнуть перед сном в каком-нибудь тихом уютном месте. «Пойдемте в «Шуманс», — сказала Анна. «Нет, — попросил Клаус, — только не в «Шуманс». — «Ах так!» — воскликнула она и бросила в него снежок. «Ладно, я знаю, куда мы пойдем», — сказал Ахим, привлекая к себе Анну. Клаусу показалось, что он что-то шепнул ей на

ушко.

Шли недолго. По дороге останавливались и играли в снежки.

Хотя лампы светили ярко, бар казался темным. Черные стены жадно поглощали свет. За одним из круглых столов сидела компания, от которой Клаус только что удрал. По левую руку от рыжей был японец — он что-то оживленно говорил ей, а в другое ухо ее целовал какой-то парикмахерский красавец. Клаус заподозрил в нем переодетого матроса. Увидев Клауса, она помахала рукой. Он бросил сердитый взгляд на Анну, прикрывавшую рот. Официант провел их к свободному столику, вручил каждому черную папку с меню и удалился. Клаус заказал себе порцию рома, Анна и Ахим захотели выпить белый портвейн. Клаус подумал, что скоро уже можно будет завтракать. Он оказался спиной к столику, за которым располагалась компания рыжей, и Ахим, сидевший напротив него, решил комментировать то, что там происходило.

— Рыжая что-то делает со своей свитой, что-то говорит каждому в отдельности. Один уже уходит. Интересно, что она говорит.

— Расскажи мне лучше что-нибудь об этой работе, — предложил Клаус, — какие программы, в какой среде?

— То, что я хотел тебе предложить, — довольно интересная задача, на первом этапе связанная со стыковкой «клиент—сервер». Со стороны «клиента» это будут диалоги, написанные на Java, а на сервере все должно быть как прежде, то есть старый добрый Cobol. Заказчик не хочет пока менять начинку, потому что уверен, что старые модули работают быстрее. Наша цель — со време-

нем убедить его в обратном. Если это удастся, нам достанется огромный кусок, если не весь пирог..

— Рыжая осталась одна, — сказала вдруг Анна, — все мужчины ушли.

— Наверно, их не устроила цена, — предположил Ахим, — все на самом деле довольно банально.

— Нет, — сказала Анна, — она не такая, тут что-то другое.

— Но что?

— Не знаю.

Клаус пошел в туалет.

Выходя оттуда, он столкнулся с официантом.

— Можно я вам что-то скажу? — спросил официант. — Я думаю, что пистолет не заряжен. Я почти уверен.

Клаус наморщил лоб. Он хотел молча пройти в зал, но поневоле спросил:

— О чем вы говорите?

— Франциска сказала, что она вам предлагала поиграть в ее игру. Вы были шестой. Или первый? Вы первый отказались. Так я понял. Разве не так?

— Я понятия не имею, о чем вы говорите, — сказал Клаус, — вы меня с кем-то перепутали.

— Ну тогда простите. Но на всякий случай знайте: он не заряжен. Я знаю ее давно, и я знаю, что она играет в эту игру уже два года. Раз в месяц. И если бы он был заряжен... Вы сами понимаете, что, с точки зрения теории вероятности, это невозможно.

— Что невозможно? — машинально спросил Клаус.

— Что он до сих пор не выстрелил. Знаете, я хотел вступить за Франциску, потому что когда она

никого не находит, она становится больной. Ее тогда никто не может понять, или она думает, что ее никто не понимает. Она остается совсем одна. Она считает, что к ней можно пройти только через это... Я очень жалею ее. Я однажды сам принимал участие в ее игре.

— Почему бы вам не сделать это во второй раз? — спросил Клаус.

— Потому что я сейчас занят, — сказал официант, — я не могу бросить работу. Кроме того, я ей не нужен, ей сейчас нужны именно вы.

На улицу вышли вместе. Рыжая девушка подошла к своему велосипеду, стряхнула с седла снег. «Я подвезу вас, — сказал Ахим, — в такую метель...»

Оказавшись вдвоем на заднем сиденье, они за всю дорогу не проронили ни слова.

Тем не менее Клаус вышел с ней вместе.

— Я хотел у тебя что-то спросить, — сказал Клаус, когда машина отъехала.

— Да?

— Ты действительно играешь в русскую рулетку?

— А что это такое?

— Все ясно. Я так и думал.

— Не хочешь выпить у меня чаю? Или кофе?

Оставив Клауса в комнате одного, она пошла на кухню. Он сел на ковер, положил голову на диван и, закрыв глаза, увидел воронку вьюги. Помогая себе руками, поднялся. Искать было несложно — все как бы лежало на поверхности, мебель была миниатюрной и прозрачной. Рояль был пуст. Был еще столик с зеркалом. И вдруг на полу, прямо на полу под креслом... Какой-то легкий, но не было времени на исследования — в ко-

ридоре слышались шаги, и прежде чем Франсиска вошла в комнату, Клаус вышвырнул револьвер в окно.

Она сидела на нем, раскачиваясь, глаза ее были широко раскрыты, и в них не было зрачков, так же как у серой статуи, стоявшей на полу в углу комнаты. В этот момент она была страшной. Потом, когда она лежала рядом, Клаус попробовал заглянуть туда же, до боли закатил глаза, но ничего кроме расплывчатой темной полосы он там не увидел.

— Ну да, мы снова пришли в исходную точку. А что делать. Ахим, так бывает. Все это не так просто, ты понимаешь. Обязательно передам. Ну, пока.

Он задвинул антеннку и положил телефон в карман. При этом он был на ратуше и шел по кругу. В отличие от фигурок, которые могли совершать такие движения только в одиннадцать часов, Клаус делал это ближе к полудню. Площадка, по которой он шел, была выше той, где танцуют куклы. Белые лепестки цветов, которые он держал в руке, облетали. Похоже было, что он не сможет выполнить просьбу — передать их своей жене. Клаус остановился и стал сличать то, что виднелось вдаль сквозь снежную дымку, с маркером, висевшим на бордюре. На табличке были контуры церквей, высотных зданий и горных вершин. Все было подписано, а возле вершин стояли еще и цифры, означавшие их высоту. Почти ничего из того, что изображено на рисунке, не было видно. Внизу стояло кольцо людей вокруг извивавшегося в мешке индуса. Клаус

вспомнил, что видел его и в первый день, как раз когда он вышел на площадь, индус громко попросил, чтобы кто-нибудь из публики завязал мешок. Он сказал, что освободится через одну минуту. И было тогда еще...

NOCTURNE

Кристина выслушала меня на удивление спокойно. В тот же вечер мы обсудили с ней детали. Кто останется в квартире, кто съедет, когда. Потом просто говорили. Все было, в сущности, как всегда. Только в постели мы легли друг от друга чуть дальше, чем обычно. Я долго не мог уснуть. Нельзя сказать, чтобы душу мою терзали сомнения. Скорее из вежливости я сказал: «Последний раз?» Кристина тихонько засмеялась из темноты и сказала: «Нет». Все было хорошо, вот только: я не мог уснуть. Нервы стали сдавать, я стал бояться, что бессонница — цена ухода, которую я теперь буду платить. Я запретил себе смотреть на часы — это расстраивало меня и гнало сон еще дальше. Лишь когда я проснулся и, значит, перед этим уснул, я включил светильник, но время так и не узнал. Первое, что бросилось в глаза, был лежащий на кровати мужчина. Превозмогая страх, я приподнялся на локте, приблизился к нему и посмотрел в его лицо. Это было мое лицо. Я, или он... Кто бы то ни был, он спал или лежал с закрытыми глазами. Я подумал, что умер и смотрю на себя со стороны. Но при этом у меня было еще какое-то тело. Я перевел взгляд на свою руку, поднял ее, потрогал. Рука была чересчур маленькая. На безымянном пальце — серебряное кольцо с алмазными крошками. Сбросив с себя одеяло, я увидел тело, которое не было моим. В то же время я знал его наизусть... Надо было доказать себе, что это сон.

Но какую руку я должен был для этого ущипнуть? Я сдавил ногтями кожу и почувствовал боль, хотя это была рука Кристины. Поднявшись с постели, я подошел к стене, потянул ремешок, жалюзи поехали вверх. Небо серело, под фонарем шел дождь, вокруг медленно росли островерхие крыши. Сзади меня слышались звуки. «Пора?» — произнес мой голос. «Нет, нет, — сказал я, — спи, еще рано». Я стоял у окна, на плечи мне спадали длинные черные волосы, которые я когда-то обожал. Теперь они меня раздражали, они щекотали мое лицо. Я лег в постель, выключил светильник и закрыл глаза. Утром мы одевались чуть дольше, чем обычно.

ШКОЛА КИБЕРНЕТИКИ

Снилось, что я подхожу к окну и вижу там что-то вроде смеси городов, в которых я жил в разное время. Дома одного города росли из стен другого, у них не было окон, они как бы вообще выпирали сквозь слизистую оболочку гигантского желудка. Небо тем не менее было синим, и в нем неподвижно висел маленький бумажный змей. Я заметил мышку, лежавшую на подоконнике, подвигал ею, змей встрепнулся. Я нажал на правую кнопку, возник текст программы, и одновременно в правом нижнем углу поднялся красный флажок. Я кликнул на него и попал в почтовый ящик. Кликнул на последнее сообщение. «Напоминаем, что вы подписали с нашей фирмой контракт. Чтобы попасть в желаемую реальность, вам нужно осуществить разработку базы данных «Эсквайр». Срок выполнения работы...»

Я разбил окно гантелей.

Но что значит разбил... Передо мной Окна. Правда, теперь они немного меньше — 16-дюймовый экран. Кроме того, система как будто дала сбой. Только так можно объяснить то, что со мной происходит. Второй месяц я хожу на работу и не работаю. Меня купили, чтобы перепродать, но вот это как раз и не удастся, и сорок второй день мне платят зарплату только за то, что я прихожу в офис в 9 утра и ухожу в 5 вечера. Что я де-

лаю в это время, никого не волнует. Владелец фирмы Вольф Зонненляйтер в первый день спросил: «Тебе ведь есть чем заняться?» Я кивнул, и больше он к этому не возвращался. При этом я должен сидеть от сих до сих. Если я в полдень вышел прогуляться, мне нужно уйти с работы на полчаса позже. Это я установил опытным путем — попробовал уйти в пять, но секретарша (на самом деле она больше чем секретарша) сказала: «Вы написали в табеле восемь часов, это неправда!» — «Но у меня ведь все равно нет никакой работы!» — сказал я. «Это не важно. Вам платят зарплату, поэтому будьте так любезны, соблюдайте график».

Сначала я сидел в этой комнате один, потом пришел этот тип, уселся напротив меня, представился, и мы друг о друге забыли. Один раз он вспомнил, когда говорил по телефону. «Вернулся... Замечательно отдохнул... Супер... Население очень приветливое... Ну, ты же знаешь — во время войны они были на нашей стороне...» Тут он осекся. Быстро посмотрел на меня. «Потом поговорим, я сейчас занят, пока», — сказал он и повесил трубку.

Он вспомнил обо мне еще раз. На этот раз говорил я. Когда я положил трубку, он сказал: «Пожалуйста, не говорите больше по этому телефону. Он не принадлежит вашей фирме». Я удивленно уставился на него. «Мы вместе с Вольфом арендуем эти помещения. Я владелец другой фирмы, понимаете? Граница проходит вот здесь». И он провел ручкой в воздухе линию. Телефон был за этой линией.

Под слоем бумаг, которыми завален мой стол, я видел документы какой-то третьей фирмы. Программист, сидящий этажом ниже, рассказал, что на самом деле все эти помещения снимает третья фирма, и она пересдает их Вольфу. Наверно, и этому типу. Я думаю, что слоев еще больше, если покопаться.

У меня нет ни малейшего желания во всем этом копать.

Напротив — стена отеля «Пацифик», в одном из окон иногда подолгу стоит женщина в светлом костюме. По-моему, пожилая. Впрочем, лица на таком расстоянии и под вуалью гардины я не вижу. Если это вообще человек, а не манекен или что-то вроде нашей секретарши. Когда я в первый день пришел на работу и Ангелика открыла дверь, я подумал, что по ошибке попал в SM-студию (садо-мазо), — она была в чем-то кожаном сверху и снизу, к тому же кисти рук перетянуты коричневыми кожаными ремешками, пропущенными между пальцами. Мы общаемся посредством e-Mail, хотя сидим в соседних комнатах.

Тьюринг решает эту проблему просто: если то, что находится в соседней комнате, отвечает на ваши вопросы так, что вам кажется, что это — человек, значит, это человек.

Если как машина, то это машина.

Мне кажется, что это — машина, но точно утверждать я пока не берусь.

Винер решает проблему еще проще: «Теперь, когда между машиной и живым организмом наблюдаются известные аналогии в поведении, проблема, является машина живой или нет, в данном случае представляет собой семантическую проблему, и мы вправе разрешать ее то так, то иначе, в зависимости от того как нам будет удобнее. Как выразился Шалтай-Болтай о некоторых своих наиболее замечательных словах: «Я приплачиваю им и заставляю их делать все, что мне угодно».

Во время перерыва я пошел гулять по полю, которое на самом деле летное. По крайней мере, когда-то было. Может быть, во времена Третьего Рейха. Спросить у секретарши? Почему бы и нет. Взлетная полоса очень широкая, асфальт в неплохом состоянии. Попробовал разбежаться. Слева и справа — густая трава по пояс. Я забежал в траву и немного помахал руками. Захотелось лечь и полежать, но я не стал этого делать. Окно секретарши выходит сюда, кроме того, по полю бродят другие программисты, ждущие, как и я, своей участи. То есть нету во мне внутренней свободы. Пасусь под присмотром репликантки. С другими программистами не разговариваю, как бы приберегая свой запас общительности для будущих коллег. Правда, кого-то из этих людей могут продать вместе со мной. Ну вот тогда и поговорим. Я не так часто выхожу теперь на прогулки; предоставленный самому себе, я пишу этот текст или «серфую». Вчера нашел страничку www.sock.plan.com. Фотографии Карадага (в частности, знаменитый мыс [http](http://)), рисунки Волошина. Стихи.

Машина научила человека
Пристойно мыслить, здраво рассуждать.

Она ему наглядно доказала,
Что духа нет, а есть лишь вещество,
Что человек такая же машина,
Что звездный космос только механизм
Для производства времени, что мысль
Простой продукт пищеваренья мозга,
Что бытие определяет дух,
Что гений — вырожденье, что культура —
Увеличение числа потребностей,
Что идеал —
Благополучие и сытость,
Что есть единый мировой желудок
И нет иных богов, кроме него.

Осуществленье всех культурных грез:
Гудят столбы, звенят антенны, токи
Стремят в пространство звуки и слова...

Двадцать второй год прошлого века. Из этих строк можно будет выбрать эпиграф, если я в самом деле захочу рассказать о Школе кибернетики.

Похоже, что уже рассказываю. По крайней мере, я заменил название со «Sweet Dreams» на «Школа кибернетики». Потом на «Записки кодировщика», на «Комментарии к программе», на «Кружок», потом снова вернулся к «Sweet Dreams». При этом вместо «Sweet» у меня было написано «Sweat», то есть сны были потными. Кошмары. «В поте души своей...» — где-то я видел такое название.

Нет, все это было бы слишком липким, что Sweet, что Sweat.

Песня вертится у меня в голове с тех пор, как на аэродроме под окнами нашего офиса ее спел Мэрилин Мэнсон.

Вольф Зонненляйтер зашел в комнату, когда у меня на экране был этот текст, и хотя он не пони-

мает ни слова по-русски, я вздрогнул. «Все в порядке, — сказал он, рассмеявшись и похлопав меня по плечу, — это баварская фирма, все свои, никакого стресса. Завтра едем на интервью в Земельный банк».

Мы съездили с ним на интервью, в очередной раз безрезультатно. Когда мы вернулись, секретарша, открыв дверь, глянула на шефа с надеждой. Он покачал головой, и она бросила на меня злобный взгляд. Взгляд, полный подозрения. Интересно, в чем она может меня подозревать? Ведь интервью проходит в присутствии Зонненляйтера. А может, я корчу клиентам рожи, когда он отворачивается, показываю им жестаи, что мол, нельзя, нельзя меня брать...

Вот что-то в духе *fin de siècle** : сотня тысяч пионеров с рюкзаками и свернутыми палатками. Сцена MTV, переросшая отель «Пацифик», стук тамтамов, черная воронка гигантского динамика со свистом всасывает в себя пространство, зона отрицательного давления, сердце тьмы.

XX век начался с крика «ужас, ужас, ужас!», прозвучавшего в новелле Джозефа Конрада «Сердце тьмы».

Потом прошло сто лет кино и психоанализа, и в итоге содержательница борделя внесла свои коррективы. «Ужас. Но не «ужас, ужас, ужас!».

* конца эпохи (*фр.*).

Не знаю, не знаю. Но странно, что в этом человеческом море я столкнулся с секретаршей. Она была одета в короткое синее платье, на ногах — высокие черные сапоги, только что, на работе, она выглядела совсем иначе. У нее был билет, и она, молча кивнув мне, прошла за ограду, а я послушал одну песню и поехал домой.

На следующий день она сказала, что эта песня и была последней, хотя публика не расходилась еще час или два. Мэнсон так больше и не вышел. Секретарша откуда-то знает, что его увезли с кислородной маской на лице. Он вне опасности, у него бывают такие приступы, это не новость. Вообще ему не везет в Мюнхене, — усмехнулась она, — в прошлый раз отменили концерт, потому что кто-то из его ансамбля что-то засунул себе в задний проход. И не мог достать. Понадобилась операция.

...and all the lousy little poets coming round, trying to sound like Charlie Manson...*

А сегодня сумасшедший закат. Красные низкие облака, кажется, вот-вот заползут в офис... Но я не в ладах с красками, я не могу описывать закаты и рок-фестивали, сколько ни пытался, не получается.

Про кружок под названием «Школа кибернетики» я рассказываю не то чтобы каждому встречно-

* И всякие паршивые поэтишки кружатся в хороводе, подражая Чарли Мэнсону... (англ.) Строки из песни Леонарда Коэна «The Future». Чарльз Мэнсон — печально известный убийца-сатанист.

му... Каждому второму, это точно. Конечно, в списке каждых первых — мои работодатели. Им незачем об этом знать, тем более что рассказ — он и есть рассказ, а на практике я, вполне можно сказать, усердствую. А что делать, от судьбы ведь не убежишь.

Вообще-то уже через год после того как я попал в этот кружок, я попытался выбежать за его пределы. Но это не удалось. С тех пор попыток было множество, и все они тоже были безуспешны. Объясняется это довольно просто: кружок непрерывно расширяется.

Изначально он находился во Дворце пионеров, назывался «Школа кибернетики», и прежде чем в него попасть, я успел побывать в нескольких других кружках этого дворца. Я уверен, что задержись я в одном из них так же долго, как в кибернетическом, и мир вокруг выглядел бы совсем иначе.

Это мог быть мир, создаваемый художниками. Это мог быть театр. Это могла быть танцующая вселенная.

Или победили бы юннаты, ювенильные моряки, вечнозеленые... Или мы бы все уже летали в космос, поставили палатки на астероидах. Да мало ли что могло быть, теперь можно только гадать об этом.

Чтобы поступить в Школу кибернетики, надо было сдать вступительный экзамен. Решить одну из

предложенных задач. Или несколько. За каждую давалось определенное количество баллов, можно было решить одну, за которую давалось 12 (это был проходной балл), или несколько, «весивших» поменьше. Я решил задачу, за которую сразу давали двенадцать. Про золотую цепь, постояльца и владельца гостиницы.

Постоялец должен расплачиваться за свое пребывание в гостинице звеньями золотой цепи. В цепи (разомкнутой) 6 звеньев, постояльцу нужно пробыть в гостинице 6 дней, каждый день он должен отдавать хозяину одно звено. При этом цепь он имеет право распилить только в двух местах.

Решив эту простую задачу, я попал в Кружок, в котором нахожусь и поныне.

Почему я не ушел оттуда через месяц? Тогда кружок еще не начал расти, можно было спокойно выйти за его пределы.

Но у меня теперь там были друзья.

Притом что в школе друзей у меня больше не было.

Я попал в солнечное сплетение своему школьному другу. Мы играли на перемене в «квача», при этом ставили друг другу «печати». Белые стены школы замечательно пачкались — погладишь стену рукой, и рука становится белой, и можно шлепнуть

«печать» на коричневую форму одноклассника. И вот мы играли в такие пятнашки, и после того как я шлепнул «печать» Виталику, он упал на пол как подкошенный. Я совершенно случайно, догнав его, угодил своей пятерней прямо ему под дых. Но я не успел ему объяснить, что это — случайность, он лежал и ничего не слышал, затем вдруг вскочил, в прыжке ударил меня ногой. Я — его. Драка была какой-то слишком жестокой, все вокруг были в шоке. Нас долго не могли разнять, потом вызывали в школу родителей. Если бы не эти вызовы и очные ставки, мы бы, возможно, помирились через день, а так родители наговорили друг другу массу неприятных слов, и нам тоже, вообще нам с Виталиком запретили общаться. Но дело было не в этом запрете, а в нас самих, странно все это было на самом деле, дружили, дружили, а потом попали в такую точку, где человек падает бездыханный, вскакивает, начинает, как заведенный, махать... В общем, когда в этот сложный период я попал в кружок кибернетиков и там у меня появились друзья, уходить оттуда из-за каких-то операторов «Бейсика» и формул Бэкуса было бы глупо, в конце концов, можно было пропускать все это мимо ушей.

А потом был мехмат, куда я не хотел поступать, но как-то так поступил, потом ВЦ, куда я не хотел идти по распределению, и так далее, вплоть до здесь и сейчас. Хотя было предпринято и несколько попыток бегства, и даже... попытка войны.

Закончив университет, я стал работать на ВЦ завода «Октябрь» и там эти мерцающие шкапчики

возненавидел уже не на шутку. Я не хочу сейчас докапываться до причин этой ненависти. Да мне кажется, что это вообще здоровая реакция любого уважающего себя человека, осознавшего, что эти твари пришли занять наше место. Я, можно сказать, видел их в самом начале эволюции — все эти «МИНСКи», «НАИРИ», «МИРЫ» и ЕЭСки, то же, что наши питекантропы и австралопитеки. В общем, когда в Союзе начался развал и монстров разрешено было демонтировать, я, естественно, возрадовался. К тому же я погрел на этом руки. В каждой такой особи было не меньше килограмма драгметаллов.

Мы с товарищами организовали фирму, которая занималась утилизацией ЭВМ, и два года процветали. Работа доставляла мне помимо денег, азарта и пр. — садистское наслаждение. В память о том времени у меня теперь осталась только эта цепь на шее. 150 граммов золота 82-й пробы.

Когда все развалилось окончательно, я нашел решение задачи о постояльце для более общего случая и стал перемещаться из гостиницы в гостиницу, расплачиваясь звеньями одной и той же цепочки. Пока где-то близ Вероны у меня ночью в поезде не украли одно звено, и задача перестала иметь решение. И я снова нашел себя в том же кружке. За это время Кружок перерос земной шар, по всему миру были разбросаны филиалы, где эти твари принимают у людей экзамены. Я сдал экзамены в режиме online, меня купили, а продать не могут.

Вот, собственно, и вся история.

Я сижу теперь в другом кабинете, на всем этаже никого больше нет. Только я и секретарша. Мы практически не разговариваем. Иногда сталкиваемся в коридоре или выходя из туалетов. Женский и мужской напротив. Мое предложение вместе обедать она проигнорировала. Когда я наливал в ее кофе молочную жидкость, струя из пакетика брызнула слишком сильно, попала ей на платье, что-то напомнила, она засмеялась, убежала к себе с полной чашкой.

На днях я был в кафе со старой в каком-то смысле знакомой. Я пришел раньше, выпил мартини, Юты все еще не было. Я пошел в туалет. Когда я оттуда вышел, она уже сидела за столиком с девушкой, которую я никогда не видел. Они меня не заметили, я стоял за перегородкой и слушал их разговор.

— ...не очень, у него даже есть одна история, вот он ее все время и рассказывает. Знаешь, есть люди, у которых есть только одна история, и есть те, у кого их несколько.

— И что это за история?

— Он сам тебе будет ее рассказывать, и не раз. Зачем тебе слушать ее еще и в моем исполнении? К тому же он вот-вот появится.

— Нет, все равно. Мне интересно. Начни, а если он придет, ты прервешься.

— Ну ладно, если ты так настаиваешь. Его история называется «Школа кибернетики», так назывался кружок, в котором он занимался в детстве, и прежде чем туда попасть...

Я вышел на улицу через вторую дверь и погулял ровно столько, сколько требуется для пересказа

моей истории. Потом я вошел в кафе. Юта воскликнула: «А вот и он». И представила нас друг другу.

— Простите, я задержался на работе, — сказал я.

— А кем вы работаете? — спросила девушка.

— Программистом, — сказал я.

Она посмотрела на меня своими черными расширенными зрачками и сказала:

— Неправда. Вы не похожи на программиста.

Я не мог не рассмеяться.

Неужели это моя единственная история?

Я почему-то уверен, что если и есть другая, то это тоже какой-то кружок.

Я закрываю глаза и пытаюсь еще раз проникнуть в коридор Дворца пионеров и школьников.

Вот изостудия. Мне шесть лет, преподавателя зовут Антон Григорьевич Сличенко. Он и похож был на цыгана. Ничему конкретному он нас не учил. Говорил, что натюрморты будут позже, через год, но год я у него не занимался. У меня были плохие отношения с красками, акварель текла по листу, все контуры становились какими-то волосатыми, или все со всем смешивалось, иногда само по себе, иногда же я в отчаянии устраивал кисточкой «китайскую ничью».

Дверь в изостудию находилась в тупике коридора, и, в отличие от других дверей, выкрашенных белой масляной краской, она была черной. Может быть, она была обита дерматином, я точно не по-

мню, во всяком случае, это была другая дверь. Паркет нигде так не скрипел, как в тупике коридора перед этой дверью, он был изогнут волнообразно, и не только паркет — там пространство изгибалось. Там была точка бифуркации.

Сличенко запрещал нам перерисовывать с картин и с фотографий. Хотя сам фотоаппарат как объект его чем-то завораживал. Я помню, что он несколько раз писал зеркальный объектив «Зенита». На холсте появлялась воронка метели. Мгла сгущалась, появлялась Луна, потом еще одна — луночки бликов. Может быть, фотоаппарат гипнотизировал Сличенко просто как блестящий предмет. А может быть, все было наоборот — Сличенко пытался таким образом наложить на фотоаппарат какое-то заклятие? Кто знает, что ему там мерещилось, на что он тогда замахивался своей кисточкой.

Однажды я встретил его в зоопарке. Мы гуляли вместе с отцом, Сличенко стоял возле клетки с пумой и рисовал фломастером. Ученикам он запрещал рисовать фломастером, можно было только карандашом и красками. «Иногда это полезно, — сказал он, заметив, что мы стоим рядом, — это дисциплинирует. Ничего нельзя стереть, все происходит мгновенно». На листе было множество ушей, лап и хвостов. Хотя пума по клетке сновала одна.

Судя по этому тексту, я так и не научился рисовать. Зачем же я продолжаю? Хочу сделать по край-

ней мере набросок. Кто-то снует передо мной. Влево, вправо, назад, вперед. Не по клетке в зоопарке, нет, это зал вычислительного центра. Но при чем тут вычислительный центр... Что тут вычислять. «Центр — везде, окружность — нигде». Или: «Движение — все, конечная цель — ничто». На выбор. К чему бы все это, а? Окружность, кружок... Лучше вспомнить еще один кружок. Да вот хотя бы: Кружок космического моделирования.

Корпус ракеты делался из листа ватмана. Ватман брали в изостудии, там его было навалом. На листе, кстати говоря, мог быть чей-то рисунок, лист все равно сворачивали трубочкой, и рисунок оказывался изнутри. Обтекатель вырезали ножом из пенопласта. Лонжероны — лобзиком из фанеры. Все это склеить, и дело по сути сделано. Пороховой заряд вставлялся перед самым запуском, на пустыре возле сгоревшего Театра драмы и комедии.

Вскоре в воздух стали запускать живые объекты. По замыслу, хомяк, поднявшись на высоту 2 километра, должен был спуститься на землю на парашюте, сделанном из носового платка. Платок был голубой, хомяк — рыжий. После запуска мы ничего не нашли ни в небе, ни на глиняном пустыре, ни в его окрестностях. Это произвело на меня очень сильное впечатление, дома я весь вечер ревел, и больше в этот кружок моя нога не ступала. Я хотел пойти в Кружок юных фокусников (исчезнув под платком, хомяки там потом опять появлялись), но Кружок юных фокусников, хотя и был поставлен в новое расписание, вскоре закрылся, и я, по-

катавшись по осенним аллеям на картинговом автомобиле, поскучав в Клубе юных моряков, о котором теперь вообще ничего не могу вспомнить, попал в кружок под названием «Школа кибернетики».

В кабинете у меня (на самом деле это кабинет заместителя Зонненляйтера, но он всегда у клиентов, и меня посадили временно на его место) стоит компьютер, превращенный в аквариум. Это поднимает настроение клиентов, которые сюда заходят.

Клиенты заходят редко, при мне еще ни разу. Но Менцель, заместитель Зонненляйтера, с гордостью рассказывал, как они дергают мышку, думая, что это — такой sleeper, ничего не происходит, и тогда Менцель щелкает пальцем по экрану, и три золотые рыбки вздрагивают. Клиентов это приводит в восторг.

Во время перерыва снова бродил по аэродрому. Он уже не такой грязный, как сразу после фестиваля, но и не такой чистый, как до. Он был стерильным, взлетная полоса вдаль отражала небо. Потом слетелись со всего мира разнообразные chemical brothers, выросли горы мусора. Я брел вдоль полосы, то и дело подбивая ногой жестяные банки. Мимо меня медленно проехали три бело-зеленые машины. Остановились чуть поодаль, из них вышли полицейские обоего пола, в руках у одной из них был волейбольный мяч. Я не стал смущать их своим присутствием, повернулся и пошел обратно. В небе

что-то гудело, я заслони́л глаза ладонью, поднял голову и увидел черный самолет с двумя фюзеляжами. Пожалуй, это было самое удивительное видение за время всех моих прогулок. Винтовой, с двумя фюзеляжами, я знал наверняка, что это — тот самый самолет, о котором рассказывал мой дед.

Дед называл самолет «рамой» и говорил, что сам по себе он безвреден, но вскоре после того как «рама» покружилась над твоей частью, в небе обязательно появляются бомбардировщики.

Женщина по-прежнему часами стоит в окне отеля. Я иногда машу ей рукой. Никакой реакции. Может быть, это уже другая женщина. На ней тоже светлый костюм. У нее тоже нет лица. В детстве я читал роман с таким названием. «Человек без лица». Я плохо помню, о чем там шла речь. Помню, что там были сканеры, читавшие мысли. Чтобы мысль не прочли другие сканеры, люди мысленно напевали какую-нибудь песенку из разряда bubble-gum. Может быть, поэтому в голове у меня до сих пор вертится «Sweet dreams are made of this...».

Голова болит, уже третий или четвертый день.

Вчера приступы мигрени были такими сильными, что я решил было пойти к секретарше и отпроситься домой. Но почувствовал, что у меня нет сил заставить себя подняться, куда-то идти, тем более с кем-то говорить. Кресло, в котором я сижу, черное, кожаное, с высокой спинкой. Начальственное. В нем можно откидываться. Но все равно это

было не то, мне хотелось лечь, ужасно хотелось, принять горизонтальное положение. Я думал лечь на пол, но боль вдруг стала такой сильной, что верх, низ, красное, зеленое, все это потеряло вдруг всякое значение. Я провалился в беспамятство.

Проснувшись, я встал с кресла и прошелся по комнате. Был вечер, слышен был легкий шум трассы, голова больше не болела. Дальше произошло следующее: я прошел по коридору и заглянул в комнату секретарши. Я увидел ее со спины, сидящей перед 20-дюймовым «макинтошем», в котором плавал человеческий мозг.

Чтобы понять, почему это, в сущности, не такое странное зрелище произвело на меня столь сильное впечатление, необходимо учесть три вещи:

1. Приступ мигрени часто сменяется состоянием как бы повышенной ясности. Голова тогда настолько не болит, что, кажется, вообще отсутствует.

2. Аквариум, который стоит в кабинете, я о нем писал выше. Имея его каждый день перед глазами, то и дело задаешь себе один и тот же вопрос. «Was ist eigentlich Windows?»*

3. В этот момент я вспомнил, как Ангелика, проходя мимо меня по коридору в первый или второй день, шепнула: «Это — странная фирма... Но ты сам поймешь».

Видимо, все это отобразилось в моих глазах.

Ангелика обернулась и, увидев мои глаза, вскрикнула.

* Что представляет собою «Windows»? (нем.)

Четвертую причину происшествия назвала Ангелика. Фён, горячий воздух Сахары, который через Италию, через Альпы доходит до Мюнхена и размягчает мозги жителей этого города настолько, что пару сотен лет назад преступления, совершенные в эти дни, считались совершенными при смягчающих обстоятельствах.

Мне показалось, что ради этих последних слов — «при смягчающих обстоятельствах» — Ангелика и произнесла всю тираду. Я хотел спросить ее, в чем, собственно, состоит преступление, но не стал. Я ничего не знаю ни о ее семейном положении, ни об условиях ее контракта с Зонненляйтером.

Впрочем, Вольф, по-моему, совсем другой ориентации. И если это было преступление, то я совершил его не просто при смягчающих мозги обстоятельствах, а при полном отсутствии мозгов. Мой мозг плавал в формалине, Ангелика рисовала его с натуры, маленькой кисточкой, на листе ватмана 11-го формата. Именно это я увидел, заглянув в комнату, все остальное — спасительные интерпретации.

Но вся жизнь — это спасительные интерпретации, и я больше не буду пытаться выразить словами то, что почувствовал в тот момент.

Natur-mord или Stilleben. Eben^{*}. Не все ли равно.

* Франко-русско-немецкая игра слов. Stilleben (нем.) — натурморт. Eben (нем.) — Вот именно.

Через день меня продали. Пишу программы. Голова не болит. Не болит голова у дятла. Хотя фён продолжается. Это сказывается в повышенной прозрачности воздуха. Альпы наступают, они видны как на ладони, тогда как в обычные дни, по словам моих новых сотрудников, Альп не видно вовсе.

Кроме того, я вижу насквозь весь комплекс зданий. Так как я его в другие дни не видел, может быть, это тоже из-за фёна — повышенная прозрачность?

Хватит шутить, это — один из многочисленных стеклянных лабиринтов, опоясывающих город.

Альпийская Силиконовая долина.

В центре города, вокруг вокзала, уже просто сплошной силикон, там два вида магазинов — компьютерные и секс-шопы, часто функционирующие и как стриптиз-бары.

Мой домашний врач решил покинуть медицину и стать системным администратором.

По телевизору выступают юноши с горящими глазами, называющие себя трансгуманистами. Говорят, что постчеловеческая эпоха уже наступила.

Утром я кручу ручку, приделанную к окну. Стекло медленно наклоняется. Кручу не меньше минуты, столько оборотов хватило бы, чтобы закрыть

банку консерваций. Вечером, прежде чем покинуть помещение, я кручу ручку в обратную сторону.

Меня пересадили в комнату на первом этаже, и теперь я не вижу ни Альп, ни стеклянного лабиринта. Я пишу, а точнее, перевожу с немецкого на PL1 запросы баз данных. Я был уверен, что PL1 — мертвый язык, не мог поверить, когда мне сказали, что надо будет писать на нем. Не было здесь нашей с Гошей фирмы, и мир mainframe остался нетронутым. Машина, на которой я чаще всего работаю; стоит во Франкфурте, но при желании я могу выбрать другой host — в Гамбурге или Дюссельдорфе, все это не имеет никакого значения.

С моей hostess мы обмениваемся e-mail'ами, причем когда записка служебная, она пишет ее на немецком, а когда личная — на английском.

Машина — победитель человека:
Был нужен раб, чтоб вытирать ей пот,
Чтоб умащать промежности елеем,
Кормить углём и принимать помет.
И стали ей тогда необходимы:
Кишачий сгусток мускулов и воль,
Воспитанных в голодной дисциплине,
И жадный хам, продешевивший дух
За радости комфорта и мешанства.

«В своем «Erehwon»^{*} он показывает, что машины не способны действовать иначе как покоряя человечество, путем использования людей в качестве подчиненных органов».

* «Erehwon» («Едгин», 1872) — антиутопия английского писателя Сэмюэля Батлера. Эта и следующая цитаты — из книги Норберта Винера «Кибернетика и общество»

«По сравнению с этим Левиафаном «Левиафан» Гоббса — только милая шутка. Сегодня мы подвергаемся риску создать огромное «мировое государство», где осмотрительная и сознательная примитивная несправедливость может быть единственно возможным условием для статистического счастья масс: создание для каждого ясного ума мира, худшего, чем ад».

Осуществленье всех культурных грез:
Гудят столбы, звенят антенны, токи
Стремят в пространство звуки и слова,
Разносит молния
Декреты и указы
Полиции, правительства и бирж —
Но ни единой мысли человека
Не проскользнет по чутким проводам.
Ротационные машины мечут
И день и ночь печатные листы,
Газеты вырабатывают правду
Одну для всех на каждый день и час:
Но ни одной строки о человеке —
О древнем замурованном огне.

Но довольно цитат. Луддит, играющий в компьютерные игры, — это уже не луддит. Homo ludens*, в лучшем случае.

У Мариэтты Шагинян спросили: пишет она от руки или на машинке. Она была возмущена тем, что мог вообще возникнуть подобный вопрос. «Однажды мне подарили золотую машинку, — сказала она, — я тогда дождалась, пока гости ушли, надела резиновую перчатку — чтобы не прикасаться к этой гадости! — взяла машинку и выбросила ее в окно!»

* Человек играющий (лат.).

Утром я спускаюсь в гараж, нажимаю на кнопку, пока машина поднимается со своей нижней полки, я кладу в рот таблетку гуарамы, и когда я выруливаю из гаража, таблетка успевает растаять. Гуарама — это натуральный кофеин. Действует лучше, чем чашка кофе, и не вызывает изжоги.

Хотелось бы просыпаться позже. Хотя бы в гараже под офисом. Или в лифте. Лифт прозрачный, как почти все в нашем здании, и даже если там никого нет, лучше не спать, потом log in, я связываюсь с сервером и начинаю переделывать модули допуска (написанные когда-то под АДАБАС) для DB2.

На внешних стеклах здания нарисованы черные птицы. Чтобы птицы — настоящие — видели, что это стекло. На внутренних стеклах таких подсказок, естественно, нет, я то и дело натыкаюсь на прозрачную преграду. Как в павильоне «Стеклянный лабиринт» на празднике пива Октоберфест.

Но из этого лабиринта я уже не найду выход и на ощупь.

Мне недавно снилось, что стекла начали рассыпаться. Стекла превратились в песок. Они на самом деле сделаны из песка.

Я получил от Ангелики записку с приглашением на ее персональную выставку. Ангелика — художник! Я сразу сказал, что она больше чем секретарша. Правда, я не сразу понял, что серое вещество,

которое она рисовала, предназначалось для анатомического атласа. Она переносила его на бумагу со страницы в интернете, где организм homo sapiens представлен в мельчайших подробностях, фотографии всевозможных сечений.

Зачем тогда нужно выпускать атласы, где все это нарисовано вручную, я не знаю. По традиции. Ангелике — дополнительный заработок. Кроме того, Ангелика пишет маслом. Картины. 18-го числа — вернисаж.

Верни сажу.

Ведь можно иней начертить сангиной.

Но это трудно перевести.

Она несколько дней не отвечала на мои записки, вчера поздно вечером я получил от нее SMS.

this fucking full-time job doesn't give me
time to write even emails,
that's why this one is so odd*.

Со мной в комнате сидят два человека, они часто болтают друг с другом. Один — огромный жизнелюб с конусной головой, он поет в туалете. Я слышал, когда был в соседней кабинке. Я иногда там отдыхаю — сажусь на крышку унитаза, не сни-

* Чертова работа от зари до зари, даже электронное письмо некогда написать. Вот почему это сообщение такое странное (англ.).

мая брюк, ногами упираюсь в дверцу, голову кладу на бачок. Подкладываю под голову валик туалетной бумаги. Положение тела — как будто в гамаке. Так вишу минут десять. За перегородкой Андреас напевал себе под нос что-то вроде «тарарабумбия, сижу на тумбе я». Немецкий вариант. Потом, выйдя из кабинки, он попробовал дверцу моей и, моему, попытался заглянуть из-под низа. Впрочем, я не уверен. Но он и так, похоже, что-то понял. Выходя из туалета, расхохотался.

Андреас вдруг отрывается от дисплея и говорит:

— А знаете ли вы, что я буду делать сегодня после работы? Нет? Я вам скажу. Я поеду домой на своем мотороллере. Поджарю себе отбивную, у меня уже все приготовлено. Потом пойду в биргартен возле моего дома, возьму себе пиво и буду читать свою абендцайтунг. Но знаете ли вы, что я сделаю потом? Нет? Я пойду домой. Но поднимусь этажом выше. Туда недавно вселилась одна девушка, по-моему, типичная блядь. И что я сделаю? Не догадываетесь? Я положу ей под дверь свою абендцайтунг. Подожгу и позвоню в дверь. И побегу по лестнице вниз. И когда я буду заходить в свою квартиру, я услышу, как она кричит: «Пожар! Помогите! Горим!»

Второй — итальянец. Мне нравится, как он объясняет мне архитектуру системы, особенно эти движения руками, когда он, охватывая все окружающее пространство, быстро перебирает пальцами и плавно опускает руку по наклонной, потом вы-

брасывает ее снова вверх, выхватывает сгусток информации, показывает мне и засовывает в другой уголок воздуха.

Иногда я спрашиваю просто чтобы посмотреть на эту пантомиму. Видно, что ему самому она тоже доставляет немалое удовольствие. В обед он ест всегда только салат. Андреас, напротив, всегда ест мясные блюда, и не только в обед, он бегаёт два раза в день к мяснику и приносит себе бутерброды с жареной колбасой или котлетами. «Посмотри, Сильвио, — говорит он, крутя в воздухе бутербродом, — неплохо выглядит, ге? И не тонкий совсем! А уж вкусно как!»

Я смотрю в окно на зелень, она выглядит какой-то ненатуральной. Слишком яркой. Мы сидим как бы в овраге («В окопе», — сказал я, Андреас расхохотался и сказал, что еще не так давно он читал «Правду» и курил махорку) на нижнем этаже, окно доходит почти до земли, за ним насыпана полоска гравия, дальше трава и кусты, поднимающиеся вверх или, если ветер пригибает их, липнувшие к стеклу. С тех пор как я пересел из офиса Зонненляйтера в эту страховую компанию, я не видел Ангелику, и, в принципе, она ничем не отличается от других сущностей с женскими именами, которые рассеяны в пространстве и времени. Все они изредка дают о себе знать короткими записками.

У нее есть муж, они живут отдельно, она хочет с ним разводиться. Он — нет. Все это она сказала мне как бы между прочим по телефону. Звонила

она по другому поводу. Она поранила свою спортивную «хонду» и спрашивала, не могу ли я помочь ей перевезти картины. Выставка через три дня должна уже открыться.

Она ждала меня возле своего подъезда. Белый свитер, синие джинсы. И эти губы, и глаза... Под мышкой у нее была картина, обернутая целлофаном. Ничего нельзя было увидеть — целлофан был непрозрачный и к тому же в пупырышках (как впоследствии несколько раз — моя кожа). Мы перенесли в машину с десяток картин, в том числе одну большую в тяжелой раме. Несколько работ она выполнила на зеркалах; «Осторожно, — говорила она, — стекло». Она посчитала, что мой «фольксваген-комби» как раз подойдет для такой цели. Я не стал спрашивать, как бы все это поместилось в ее «спортваген».

— Фургон я не хотела брать, — сказала она, садясь в машину, — это выглядело бы как-то уж очень серьезно. На меня бы это давило, а так это как бы между прочим, между делом, типа: а вот я еще и рисую иногда, понимаешь меня?

— Да, конечно, — сказал я, — только теперь это будет давить мне на шею.

Край большой картины лег на спинки передних сидений. Можно было ехать только наклонив голову к ветровому стеклу.

— А можно мне взглянуть на нее? — спросил я.

— Зачем? Мы ведь ее повесим, увидишь на стенке.

— А если придется резко затормозить, и она снесет мне башку? Расскажи хотя бы, о чем она.

— О чем? Это достаточно абстрактная картина, — сказала Ангелика.

— О, только не это! — простонал я.

— Почему? Ты против абстрактной живописи?

— Я — за. Но только не тогда, когда она лежит у меня за спиной, рама упирается мне в шею, и если я резко заторможу, картина прибьет меня. И мне бы тогда хотелось, чтобы это были луга, нагие да-наи, тыква на табурете, да все что угодно. Но полное отсутствие формы равносильно небытию.

— Почему ты думаешь, что попадешь тогда в картину? — смеясь, спросила Ангелика.

— А как же иначе, — сказал я, — если картина попадет в меня, то и я попаду в картину. Я могу привести тебе доказательство. Однажды ночью раздался страшный грохот, я вскочил, заглянул в одну комнату, другую, и в третьей увидел... одна из картин упала с гвоздя...

Я замолчал, потому что, не желая резко тормозить, проехал на красный свет, включившийся в последний миг.

— Черт подери, доля секунды! — воскликнул я. — Но он успел меня сфотографировать.

— А может, не успел? Если что, я оплачу твой штраф, — сказала Ангелика.

— При условии, что ты продашь эту картину. Как она называется?

— «Solus rex»^{*}.

— Нет, это голый король... — пробормотал я по-русски. — Вся эта ваша абстрактная живопись.

Ангелика потребовала, чтобы я перевел, что сказал. Я сказал: так же называется неокончен-

* «Одинокый король» (лат.).

ный роман Набокова. В сущности, неприкрытый король, — подумал я, — он же и голый. Она попросила рассказать, о чем там речь, я напрягал свою память, глядя на дорогу, на поля и дорожные знаки. Мелькнул желтый щит, на котором стояло число 81,6. Это была частота волны радиостанции, мы въехали в зону ее приема. Я вспомнил, что когда-то принимал эти щиты за указатели километров. И не мог понять, куда ведут эти километры.

Ангелика сидела рядом с закрытыми глазами, губы ее тихонько шевелились. «Die nackte Königin*», — сказал я. Она не откликнулась. Промелькнул еще один желтый щит, с другой частотой. И я вспомнил еще кое-что. Я вспомнил, как, решив задачу по физике на контрольной в средней школе, я стал делать проверку размерностей. И получил слева от знака равенства метры, а справа герцы. Из чего следовало, что задача решена неправильно. Но правильно решить ее я так и не смог. Я пытался вспомнить, в каком классе это было, учился ли я тогда уже в Школе кибернетики?

Ангелика сказала:

— Это похоже на мою картину. То же настроение, гамма. Ты попал.

Я отвел глаза от потока шоссе. Вокруг были поля. Вблизи от дороги у них был цвет красноармейской шинели. На одной меже сидела крупная хищная птица.

* голая королева (нем.).

— Нет, я попал не в картину, а в задачу, которую когда-то неправильно решил, — сказал я. И стал объяснять Ангелике, как делают проверку размерностей.

Мы развесили картины в зале с огромной стеклянной стеной. По пути назад я свернул с трассы на дорогу, спускавшуюся прямо к озеру. Остановил машину у самой воды. «Но почему, — удивилась Ангелика, — здесь? Здесь же неудобно, и вообще, в машине я...»

«Что ты сделал? — сказала она, — ты же меня...» — «Смешное слово, — сказал я, — *vögeln*, — при чем тут птицы? Иначе, среди птиц...» — «А как по-русски?» Я сказал ей, как это будет по-русски, она повторила несколько раз, я рассмеялся. Мы шли вдоль берега, моя рука была под ее свитером, под ноги нам попадались рельсы, которые начинались возле гаражей, содержащих в себе яхты. Рельсы уходили в воду. Вода была прозрачна, видно было, что рельсы немного продолжают по дну.

Впрочем, концов их мы не видели, поэтому я подумал, что рельсы могут быть проложены по всему дну и что там ходят трамваи. Другого берега не было видно. Туман; кроме того, он был достаточно далеко, Аммерзее — огромное озеро. Ангелика — вполне в такт моим мыслям — сказала, что на дне этого озера утопленники не разлагаются столетиями. Я рассмеялся. «Но это правда, — сказала она, — Томас спускался вниз на специальной подводной

лодке, на глубину сто метров, он видел». — «Кто такой Томас? Твой муж?» — «Ну при чем тут мой муж? Томас — это Томас».

Я зачем-то стал ей доказывать, что трупы не могут сохраняться в воде, даже такой холодной и неподвижной, так долго, что это полный бред. Она слушала, тихонько кивая, а потом сказала: «Но ведь Томас их видел. Своими глазами. Не только люди, лошади, там целые экипажи, они двести лет назад провалились под лед. Об этом написано в хрониках. Все сходится». — «И лошади целые?» Она кивнула. «И те, кто сидит в карете. Там множество людей на дне, то есть трупов, я хотела сказать. Если ты не веришь, ты можешь спуститься вместе с Томасом на подводной лодке. Она трехместная. Он спустился с человеком, который сам ее изобрел и построил. Ты не веришь?» — «Я верю, конечно, я понял, это Валгалла...»

По-моему, типичный тевтонский бред.

Неологизм: валгаллище.

Здание, в котором через три дня открылся вернисаж, — гостиница для даунов. Точнее, для детей-даунов, через дефис. Я не знаю, могут ли у даунов быть дети. Дети-дауны приезжали туда вместе со своими родителями. Когда я, проходя по коридору, увидел, как из номера выходит человек в летах и в черном костюме, с платочком на шее, и за ручку ведет маленького дауна, мне почему-то показалось, что это — сцена из «Соляриса».

Зал был полон людьми. Это явно были люди, специально приехавшие на вернисаж, а не жители

гостиницы, спасающиеся от скуки. К столу пройти было невозможно, я с завистью поглядывал на тех, кто успел взять себе бокал вина или просекко. Профессора, о котором мне говорила Ангелика, я не видел, только слышал его бормотанье с сильным русским акцентом. Когда он промелькнул несколько раз в зазорах между телами, я стал что-то вспоминать. Я даже вспомнил, как его зовут. Мы познакомились с ним в изостудии Дворца пионеров и школьников, которую я вскоре бросил, а он вроде бы нет, он вот как бы даже вещал оттуда. На нем был темно-синий костюм со стоячим воротничком, делавший его похожим на провинциального пастора.

«...картина состоит из красок, линий и форм, — говорил Олег, — при этом опять-таки квадратные формы образуют внутреннюю структуру картины». На секунду он задумался, а потом сказал: «Ангелика». «Ангелика Краузе, — сказал он, — пишет маслом на дереве и на холсте, который натянут на ДВП. Как видите, всюду появляются квадраты. Так было и раньше, но с прошлого года можно заметить возрастающую дисциплину...»

— Это — ложь! — громко сказал чей-то голос. Никто на это не обратил внимания. Ангелика посмотрела в пол и снова подняла глаза к стеклянной стене, за которой, как в колбе, стлался туман. Видны были близкие камыши, это уже был берег озера.

«...сначала движения были параллельными, — говорил мой друг детства, — потом линии начали

образовывать некую сеть. Может быть, даже позво- лительно сказать, что краски в более ранних рабо- тах представляли собой раздражающий фактор и это делалось осознанно. Теперь же стал возможен более свободный подход, который вместе с увели- чением количества возможных вариаций...»

— Да она не художница! — снова сказал тот же голос. — Она вообще черт знает кто!

Видно было, что Ангелика вспыхнула. Олег всплеснул в воздухе руками. Толпа стала требовать, чтобы хулиган покинул зал. Я услышал, как кто-то кому-то на ушко сказал: «Ее муж».

Я наконец его увидел, это был грузный мужчина в кожаном мотоциклетном обмундировании. Спе- реди лысина, сзади длинные волосы. Висячие усы над двойным подбородком, он был похож на руко- водителя ансамбля «Песняры», фамилию которого я теперь пытался вспомнить.

Протиснувшись к столу, я выпил один за другим три бокала кьянти. Поймал на себе испуганный взгляд какой-то дамы. Видимо, она боялась, что наличие в зале сразу нескольких пьяных может привести к чему-то неприятному.

— Это — ложь! — снова воскликнул муж Анге- лики. Мне показалось, что Олег еле сдерживает смех.

— Послушайте, я прошу вас оставаться в рамках приличий, — сказал Олег, — здесь присутствует бургомистр. И вообще... Прошу вас. Итак: хорошо рассчитанная игра сильных красок как репрезентация изначальных свойств живописи. При этом художница не испытывает известный всем *homo vasui*^{*}, напротив, в большинстве картин есть область, которая не так интенсивно или вообще не раскрашена, и это свободное поле как бы вступает в диалог, оно создает противовес ярким участкам. Эта зона покоя, это слепое пятно...

Когда Олег замолчал (раздались аплодисменты), я подождал, пока люди разбредутся по залам, и подошел к нему. Он, в отличие от меня, вспомнил мою фамилию и не вспомнил имя. Я сказал, что этот человек — с моей фамилией и его именем — представляет собой, по-видимому, нашу проекцию в какое-то пространство.

— Это для меня слишком сложно, — сказал Олег, — у меня нет образования.

— Но тебя называют профессором?

— Потому что я учу, а уж кто меня учил, никого не волнует. Ты ведь знаешь, что меня учил Сличенко.

— А кого учишь ты?

— Всех подряд. Ангелику, например.

— Вот как... А я все думаю, кто же ее учил. — Я был слегка пьян, сам не знаю, почему вдруг я заговорил с ним таким тоном.

* боязнь пустоты (*лат.*).

— Нет, не то. Фи, я не сплю с ученицами. Мои ученики — дети и старухи, которые решили заняться живописью, чтобы успеть оставить по себе какой-то след. Старухи ловят каждое мое слово, переписывают друг у друга, очень смешно на самом деле.

— Но Ангелика не ребенок и не старуха.

— Ей хватает всех этих рекрутов. Забавно, что она их за глаза называет рабами. Так же как ее шеф. Ты знаешь, наверно, если ты с ней спишь, что она перепродает программистов.

— Я — один из них.

— Да? — Олег довольно улыбнулся. — Ну, поздравляю. А сейчас прости, мне надо тебя покинуть, смотри, вон, эти старушки меня всю зовут, ах вы мои одуванчики...

Я вышел в коридор. Там была выставка батика, вишневые, сочно-зеленые краски, маленькие дауны, попадавшиеся на пути, искривляли и без того кривое пространство. У меня было странное чувство в тот вечер, какой-то я был заторможенный. Или это мне теперь так кажется? Нет, я помню, что у меня было такое чувство, как будто я давеча резко затормозил, и картина меня прибила или проехала сквозь меня, как сквозь стекло.

Я шел мимо зеркал, которые Ангелика разрисовала помадой или красной краской. Они висели во втором зале и назывались все вместе «Lipstick on Your Collar*». Я подумал, что Олег почему-то оста-

* Губная помада на твоём воротничке (англ.).

вил эти работы без комментариев. Тут же он, проходя мимо меня с сухощавой крашеной брюнеткой, сказал по-русски:

— Знаешь, как это называется? Монголоидная идиотия.

— Что-что? — сказал я.

— Так раньше называлась болезнь Дауна. Но это и то состояние, в котором я нахожусь. Взял бы ты на себя, что ли, часть этих теток.

— А куда делась Ангелика?

— Не Ангелику. Она разбирается с мужем. И потом, она не безумна, — сказал Олег и перешел на немецкий, — а вот могу представить — Андреа фон Ланге, а это мой старый друг.. — Олег на мгновение запнулся, видимо, снова забыв мое имя. А заодно и фамилию. — Герр Герц, — протявкали он, — мой коллега, мы вместе учились живописи. — Он убежал, и мне пришлось объяснять его ученице, что профессор шутить изволил, живописью я занимался с шести до семи лет. Я рассказал историю про Кружок кибернетики, даже не зная, что кружок в тот момент уже не расширялся, а сужался со страшной скоростью. Прошло полчаса или даже меньше, и он сдавил мое горло.

Поблуждав по залу и окончательно убедившись, что Ангелике сейчас не до меня, я вышел из гостиницы, подошел к озеру и увидел там Олега. Мне показалось, что он говорит вслух сам с собой. Хотя я ничего не услышал. Олег стоял у воды в мрачном одиночестве. Когда я подошел, он спросил, смогу ли я подбросить его до Мюнхена. Я кивнул.

— Ангелика сейчас показывает всем анатомический атлас, — сказал я.

— Да, это бывает. Понимаешь, она еще не может без костылей, ей нужно какое-то оправдание, — сказал Олег, зажигая сигарету.

— Ангелика говорит, что, хотя треть рисунков сделала она, в списке художников нет ее фамилии. Люди листают атлас и возмущаются. Со стороны выглядит так, будто они негодуют по поводу устройства человеческого тела.

— Смешно. Научил на свою голову. Теперь приходится еще выступать на ее вернисажах, причем за это она мне не платит ни копейки. Ну что поделаешь... Мы играем не для денег. Нам лишь бы вечность провести.

— Провести в смысле «обмануть»? — сказал я.

— Вообще-то это Пушкин... А зачем ее обманывать? Я понял, что тебе не нравятся картины, но зачем бы нам обманывать вечность, а? Прости, я сейчас приду. Там родители моей ученицы, они хотели мне что-то сказать.

Я остался один, закурил очередную последнюю сигарету. Каждый раз я даю себе слово, что это последняя, каждый раз я это слово нарушаю. Вот и на этот раз через пять минут я курил следующую, стрельнув ее у мужа Ангелики. Он подошел ко мне, точнее, сначала он прошел мимо, и я думал, что он пойдет дальше, в воду. Его костюм был похож на костюм аквалангиста.

Он подошел ко мне и спросил усталым хриплым голосом:

— Художник?

— О нет! — сказал я — и начал рассказывать ему свою историю. Он перебил меня:

— Меня зовут Отто. А ты программист?

— Да, — сказал я. Рассказывать дальше мне уже не хотелось.

— Ангелика мне что-то про тебя говорила, — сказал Отто, — Зонненляйтер тебя выписал оттуда, были проблемы с зеленой картой...

— Нет, это был не я.

— Почему ты знаешь, что не ты?

— Потому что я приехал по еврейской линии, — сказал я. Отто сделал большие глаза. Я объяснил ему, что существует программа приема еврейских иммигрантов.

Отто слушал молча, кивая, вынул из кармана пачку «Мальборо», закурил. Я попросил у него сигарету. Он дал, поднес мне огонек зажигалки. Ничто не предвещало того, что произошло через минуту.

— И звеньями этой цепочки ты, значит, всюду расплачивался, — сказал он. — Можно мне посмотреть?

Я вынул из-под рубашки цепочку, он взял ее, пощупал и отпустил.

— Еврейские штучки, — сказал он вдруг, — фокусы ваши. Вы вечно платите звеньями одной цепочки. Якобы цепочки. Якобы зубы золотые. Лежат в Швейцарии. Вранье. Все одно сплошное вранье...

Я повернулся и пошел прочь, подальше от соблазна утопить Отто в озере. Я успел сделать несколько шагов, после чего обе мои ноги оторвались от земли.

На мгновение я завис в воздухе с распростертыми руками.

Над камышами, как потревоженная утка.

И рухнул на землю.

Это был прием дзюдо, которым я занимался так же давно, как и живописью.

Прошое иногда догоняет нас, я лежал, придавленный к земле Отто-телом, и не сразу понял, что Кружок стремительно сужается вокруг моей шеи.

Меня душили цепочкой, сделанной из утиля.

Я подумал, что это и есть конец моей истории.

Я вдруг увидел, что внутри меня теперь все то же самое, что в ЕЭС-1036.

Когда я открыл глаза, надо мной был Олег. Он делал мне искусственное дыхание, рядом валялся черный кожаный Отто. Я уже не был цифровой машиной. Возможно, аналоговой. «Он жив?» — спросил я. Олег кивнул.

«Скажем, что упал, — предложил Олег, — все видели, как он напился, вопросов не возникнет». — «Он может обвинить нас», — сказал я. «Да нет, я его знаю, ничего не будет», — махнул рукой Олег.

Когда мы подносили Отто к террасе, он уже пришел в себя и тихонько стонал. Ангелика, увидев его, не стала слушать наши объяснения, она попросила перенести его в джип, после чего села за руль и скрылась в противоположном от Мюнхена направлении.

Мы с Олегом сели в мою машину и поехали в Мюнхен. Я рассказал ему, что испытал в момент удушения что-то вроде галлюцинации. Он сказал, что такое бывает, в армии некоторые идиоты даже специально это делали — просили, чтобы их подушили полотенцем.

— Тебя можно о чем-то попросить? — сказал Олег.

— Ну еще бы. Ты ведь мне жизнь спас.

— Да разве ж это жизнь...

— Ну все-таки.

— Моя жизнь в данный момент настолько запутанна, что я плохо представляю, куда мне следует отправиться ночевать. Я жил у одной тетки, с ней уже все кончено, с другой что-то вроде начато, а может, и кончено...

— В любом случае, ты можешь у меня переночевать, — сказал я, — какие могут быть проблемы? Шея болит, черт возьми. Наверно, шрам будет, как у профессора Доуэля.

— Не пойму, как он мог такое сделать цепочкой. Как будто на тебе был строгий ошейник.

— Говорю тебе: он хотел отпилить голову! Наци!

— Да брось, какой наци. Он на тебя бросился, потому что ты программист, а не потому что еврей. Просто ему в пивной как-то сказали, что Ангелика ебется с рабами, и все, и крыша поехала.

— Слушай, не употребляй это слово, я тебя прошу, — сказал я.

— «Ебется» или «рабы»? — спросил он.

Я не помню, сколько прошло с тех пор как я перестал жить и писать в режиме реального времени. Теперь осень, я перешел в другую компанию. За со-

седним столом сидит человек с лысой головой. Не бритой. Наоборот, ему пытались имплантировать волосы, но они не прижились. Кое-где еще торчат маленькие кустики рассады. Помимо него в комнате сидят три программиста. Рычат за моей спиной, когда у них что-то не ладится, настоящие яппи и йети. За окном течет Изар. Желтые листья, попадая в его зеленую воду, несутся еще быстрее, чем по воздуху.

«Sweet dreams are made of this, — все еще крутится у меня в голове, — who ever mind or disagree...»

Праздник пива — Октоберфест — закончился, после работы я брожу по Терезиенвизе среди его останков. Развинчивают «американские горки». На земле ничком лежит Кинг-Конг, вокруг него копошатся крошечные рабочие в оранжевой одежде. Рука — отдельно, из дырки в корпусе торчат металлические кости. Над Терезиенвизе носятся чайки, в полуразобранных павильонах можно еще выпить пива. От Ангелики по-прежнему приходят приглашения на вернисажи. Она устраивает их в приемных адвокатов, врачей и, конечно, в компьютерных фирмах. Когда я приезжаю туда, там почему-то никого нет. То ли я все время что-то путаю, то ли Ангелика теперь специально пишет неправильное время на своих пригласительных. Я хожу в пустых залах мимо картин, пальм в надежде, что она сейчас выглянет откуда-нибудь с бокалом шампанского, с тонкой ментоловой сигаретой. Ее картины на-

поминают мне окна дома, в котором делается ремонт. Стекла, замазанные побелкой. Никаких просветов она больше не оставляет. Двери закрыты. В дом невозможно заглянуть. По-моему, я несколько раз проникал туда во сне. Да и среди бела дня кажется иногда, что я вижу внутренность этого дома, бетонные катакомбы, впрочем, все это ментально рассеивается. В отличие от Ангелики, я испытываю *horror vacui*. Дох-дох. Им все это и продиктовано. В офисе у меня теперь нет кириллицы, да и времени нет, этот текст я заканчиваю на своем стареньком лэптопе, буквы русского алфавита наклеены на клавиатуру, то и дело они опадают, и я приклеиваю новые. Это такие серые кружочки, с одной стороны клейкие, я покупаю их в канцтоварах, пишу на них русские буквы. Средняя продолжительность жизни такой буквы от одной недели до месяца. Потом кружок начинает ползть по луночке, я его поправляю, но он вскоре падает в щель между клавишами, оттуда я его вытряхиваю, и он оказывается на столе или на полу, а потом переносится на моих локтях или подошвах в разные уголки квартиры. Повсюду теперь можно увидеть буквы, в ванной (утром я увидел кружок с буквой А в раковине, отдираю его от эмали ногтем), в постели и на балконе.

Буквы расползаются не только по квартире, что я, в сущности, знаю об их путешествиях, скажем, с моей джинсовой задницы буква переносится на сиденье кресла в баре или в кинотеатре, оттуда — на другую задницу, и дальше пути ее неисповедимы. В моей квартире никого нет, на столе лежит сомк-

нувшийся лэптоп, на полу эти серые конфетти. Я в офисе, передо мной ползут зеленые цифры и буквы латинского алфавита.

Ничто пахнет как только что распакованная магнитофонная пленка. «Тасма». Или «Свема». Шосткинский завод в Сумской области. Запах за что-то цепляется в голове, как раккорд, пленка начинает переползать с одной катушки на другую. Я вижу зал вычислительного центра завода «Октябрь», восемь человек, работающих в режиме разделенного времени. Я вижу поочередно их лица, как будто я смотрю на них из глубины экранов. А теперь я вижу пол, покрытый квадратными железными плитами. Они матово сверкают под чьими-то ногами. Он ходит, как конь. Не ладья, а конь. Поворачивает через каждые два-три метра. Такая болезнь. Так он ходит везде, и по залу вычислительного центра, и по коридорам, и по колхозному полю. Никто не знает, из какого он отдела, как его зовут. У него крошечные глазки, кажущиеся ноздрями. Нос такой, что непонятно, где его начало и где конец. «Кто-кто? Конь в пальто». Он белый, как штукатурка, из которой он периодически появляется, в которую он уходит.

Розыгрыши

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТЕНКО

Последний раз я видел Алексея Петровича Солдатенко две недели назад. За неделю до его безвременного исчезновения. Впрочем, откуда мне знать — возможно, он исчез как раз вовремя. Я встретил его за одним из многочисленных углов Театра оперы и балета. Вообще-то я направлялся на крышу этого сооружения, где пить массандровский портвейн особенно приятно, но Апс туда лезть не захотел. Мы сели за столик открытого кафе — того, что находится на верхней террасе. Это уже почти крыша, так что у меня на этот раз не было досадного чувства, что я опять-таки не делаю того, что хочу. При ближайшем рассмотрении оказалось, что Апс пьян.

— Это Карина? — спросил он меня, имея в виду долетавшее до нас снизу меццо-сопрано. Я сказал, что, по-моему, нет, но вообще-то ему лучше знать. Сегодня Карина сказала мне по телефону, что директора театра увезли прямо из кабинета в психбольницу. Когда я признался, что последний раз видел Апса на крыше театра, она заметила, что крыша, возможно, уже ехала. Я сказал, что это чувствовалось, и она пристала с вопросами — что говорил Апс, но я ответил, что треп был бессвязным.

— Она поет иногда во время акта, — сказал Апс.

— Это точно, — кивнул я.

— Ты меня не понял.

— Возможно.

— И этот ее интимный голос сильно отличается

от сценического. И мне он теперь как-то ближе, а тот я стал забывать.

Глаза у Апса были красные. Он прижал к уху сотовый телефон и одновременно сфокусировал взгляд на какой-то точке у меня за спиной. Подошла официантка, и я попросил ее принести бутерброды с колбасой и пустые стаканы. Она не стала заносить мою просьбу в блокнот, просто кивнула головой и пошла к стойке. Апс договорил, положил телефон на столик и стал смотреть на официантку. Она принесла пластиковые стаканчики, бутерброды и пепельницу. Алексей Петрович внезапно схватил ее за руку и попробовал усадить к себе на колени. Официантка реагировала спокойно — она упиралась и дула, немного оттопырив нижнюю губку, вверх — на белую челку. Мне этот спектакль уже успел надоесть, и я решил тем временем выпить. Стаканчики она передала мне из рук в руки, потому что со столика их сносил ветер. Пока я не налил в них вино. Апсу — полстакана, полагая, что он и так уже хорош. Он был по-прежнему занят, и я выпил один. Одной рукой Апс держал руку официантки, другой рукой тыкал в нее антеннкой телефона. Ветер трепал натянутый над кафе парашют. И волосы официантки — вокруг ее головы как будто бесновалась метель. Апс выпустил ее руку, и она сразу схватилась за голову, собрала волосы и пошла к другому столику.

— Почему полстакана? — спросил Апс. — Наливай по-честному.

Я налил ему до края и сказал:

— Не пей до дна.

— Почему?

— Стаканчик унесет.

Апс допил до дна, поставил стаканчик, и его не унесло. Ветер был порывистый.

— Видишь, я удерживаю взглядом стаканы, — сказал Апс, — скоро буду двигать. Слушай, сорвал вчера объявление: «Даю уроки». Перечень предметов: от арифметики до астрофизики, а в конце — «взаимозаменяемость». Сейчас позвоним — выясним, что это такое.

Он порылся в карманах и сказал:

— Я был в другом костюме. Но ты не расстраивайся.

— Я?

— Ты. Твои методы неверны. И если бы тираж твоей сольной книги полежал еще год-другой, все равно бы что-то случилось. Рукописи не горят, но, скажем, жучки какие-нибудь. Нет, это — прекрасный исход, поверь. Кстати — о жучках. Прикупил по случаю одну частную библиотеку, и вместе с ней в моей хижине завелись тараканы. Сам виноват — я же видел их следы, знаешь, эти черные точки...

— Может быть, это знаки препинания?

— На торцах?

— Пунктуация гипертекста.

— Да нет, дерьмо тараканье. Карина травила их брызгалкой.

— Травиата.

— Нет, на насекомых это не действовало, зато Карина была как-то особенно воодушевлена.

— «Тоска», токсикомания.

— Да-а-а, а потом Лена — а я всегда знал, что она — ведьма, — принесла с собой в следующий раз мелок, провела им черту, и тараканы не смогли через нее переступить. Провела круг.

— Ну и что — все, покончено?

— Еще нет. Но круги сужаются.

— Карина рассказывала: «Ко мне подошел Апс и сказал: «Пойдем, я познакомлю тебя с одним не-

известным писателем». — «А зачем мне неизвестный?» — спросила я. «Он известен в очень узких кругах», — сказал Апс — так таинственно, что мне захотелось взглянуть».

— Ну и что? — строго спросил Апс.

— Ничего, — сказал я, — точка.

— Я думаю, что они могли тебя уничтожить вместе с тиражами брошюрок, под которые они получили соросовский грант, — сказал Апс.

— А зачем они их уничтожают?

— Просто так. Это дешевле, чем с ними возиться. Впрочем, так же как и с твоими малосольными рассказами.

— Когда б вы знали, из какого Сороса...

— Это — всего лишь гипотеза, — сказал Апс. Примерно после этого мы разошлись. Я еще верю, что старик залег на дно. Удельный вес его, правда, великоват для таких игр.

Мне позвонила Карина и сказала, что она уехала вместе со мной на гастроли. Куда? А никуда. У нее есть ключ от необитаемой квартирki в самом центре, принадлежащей — угадай кому?

— Так может, он там и сидит? — спросил я.

— Нет, — ответила Карина, — я уже проверила.

В институтский период все знали, что если Солдатенко нет, значит, он на даче. С тех пор, конечно, все изменилось. Карина расширяла мои представления о его недвижимости, когда мы с ней вернулись на диван, которому перед этим предпочли пол:

— Апс замирал во мне и начинал играть с моим лицом. Пальцы лезли в ноздри, в уши, растягивали рот. Или он надавливал ими на какие-то точки на затылке. Знаешь, такие маски гуттаперчевые бы-

ли — Вицина, Моргунова и Никулина? Сзади были отверстия для пальцев. Двигаешь пальцами, а рожица гримасничает.

Утром она выпорхнула стремительно. На репетицию. Даже чай не допила — вылила его на ходу в горшок, из которого растет какое-то деревце.

— Он дал мне ключ, чтобы я его поливала, — сказала она в дверях, — ты — свидетель. Почему-то мне казалось, что это кактус, ну да не важно. Пока.

И я остался допивать чай с бергамотом. Возможно, это дерево и есть бергамот. Во всяком случае, оно тоже пьет чай. Только в нем чай движется снизу вверх, а во мне — наоборот.

В ящике стола я нашел пистолет. Заглянул сквозь дырочку в мир иной и положил обратно.

Вот как это было: Солдатенко вызвал меня к себе на ковер и сказал, что ему хорошо известно, что я во время работы сочиняю какую-то личную прозу. Я сознался сразу, потому что если дело принимало такой оборот, надо было писать заявление об уходе. Но Апсу этого оказалось мало: он сказал, что уволит меня по статье. На следующий день он снова вызвал меня к себе и спросил, как я отношусь к тому, чтобы откорректировать статью.

— Ту, по которой меня увольняют? — спросил я.

— Забудь, — сказал Апс, — посмотри сюда.

Он протянул мне папку, я открыл ее, взглянул краем глаза на привычного вида блок-схемы и, закрыв папку, сказал:

— Согласен.

— Посмотри дома внимательнее, — посоветовал Апс, — и знай, что если у тебя получится, ты об этом никогда не пожалеешь.

— Вы имеете в виду премии? — спросил я.

— Твоя жизнь тогда изменится, — сказал Апс, —

только не смотри папку на работе. Иначе жизнь твоя изменится совсем по-другому.

После такого предисловия любой нормальный человек, придя домой, наверное, заглянул бы все-таки в папку, но я немножко знал Апса, и все эти его игры в секретность меня мало удивляли — ну, халтура или какая-нибудь программная речь (Апс всегда стремился к власти — тогда как раз ввели выборность на все управляющие должности, и Апс пытался стать директором института — собирал народное собрание и т. п.), что мне было за дело до этого? Во всяком случае, это не горит, — подумал я и вместо папки Апса открыл свою собственную.

Там была моя повесть, которая называлась «Экспериментатор». Вот ее начало:

В голове клубок оголенных проводов.

То и дело происходит замыкание, и в глазах рассыпаются желтые искры. Я пытаюсь заизолировать провода голубой изоляцией, но они превращаются в змей. Они выползают из моего рта и жалят окружающих. Ужаленные в ужасе отшатаываются и отсасывают друг у друга яд. А потом они бросаются на меня. Я бегу от них. Я просыпаюсь.

Сон оставляет мне на память о себе острую боль в виске. Как будто один из его персонажей не успел выскочить и теперь всеми силами пытается пробиться наружу.

Вот он, кажется, взял молоток.

Холодная вода делает боль еще более отчетливой. Я стараюсь о ней не думать. Глотаю завтрак, одеваюсь, беру портфель и, зажав висок рукой, бегу на работу.

Троллейбус, метро, снова троллейбус, или нет — пешком. Еще есть снег, он блестит на черной слякоти как горный хрусталь. Вот уже и длинное здание института. Здание похоже на поезд, и в момент, когда он трогается, я успеваю запрыгнуть. Я уже стою в очереди к лифту, когда раздается звонок.

Мой этаж, комната, распись в журнале. Рукопожатия коллег. Я уже сижу за столом. Все, поплыли огромные пустые минуты.

Я пытаюсь сосредоточиться на работе.

Казалось бы, все внутри меня «за», но через несколько минут я вижу, что они меня тянут в разные стороны. Куда-то в память. Черт знает куда.

Взгляд выпрыгивает за окно, как кошка. Лазит по мокрым крышам соседних зданий...

Это все, что я помню наизусть. Помню, что потом мой лирический герой засыпал на рабочем месте, а коварные сотрудники, уходя домой, не будили его, и он, проснувшись в темноте, долго ходил по институту, пытаясь найти выход. Входная дверь была заперта, а вахтер спал в одной из трехсот комнат. Кафказский пленник доходил до конца коридора и не то чтобы проходил сквозь стену, но что-то около того — он проходил сквозь дверь, которая никогда не открывалась и была покрашена той же самой голубой краской, что стена, так что никто уже не воспринимал эту дверь как дверь, а вот мой мнс сквозь нее прошел и оказался в точно таком же институте... И в этот момент мне позвонил АПС.

— Да, — сказал я, — я посмотрел папку, да, меня это очень заинтересовало, сделаю, назовите только срок.

Апс назвал какой-то огромный срок — целый квартал. После разговора я открыл папку и, прочитав содержимое одного из ромбиков, расхохотался. Там было написано: «Встреча со следователем». Дальше стрелка вела к квадратику, в котором было написано: «Сцена в универмаге». И так далее. Это был детектив, точнее, его контурная карта. Мне предлагалось ее раскрасить. На следующий день Апс назвал цену, услышав которую, я понял, что старик свихнулся.

— Но почему вы выбрали меня? — спросил я. — Ведь вы ничего не читали кроме моих отчетов.

— Как раз их я не читал, — сказал Апс, — я читал стихи. А на прозу, прости, нет времени. Если бы было, я бы сам писал, а не подавал тебе идеи. А стихи мне понравились.

— Не помню, чтобы я давал вам свои стихи.

— Ты пишешь их на перфокартах, и эти перфокарты я нахожу повсюду. Одну даже возле института. То ли ты обронил ее по дороге, то ли выбросил в окно. Ты можешь заниматься всем этим в рабочее время, а уж дома изволь. По-моему, гонорар совсем не плохой.

Сумма на самом деле казалась мне фантастической. Пока все это не вышло в тираж, пока я не увидел, какие деньги получает Апс. Я получал заранее оговоренные гонорары, а Апс все остальное. За вычетом издержек. На обложках стояла только его фамилия, но это меня как раз устраивало. Я был в шоке, когда Апс вдруг решил, что поступил со мной несправедливо и на обложке следующего детектива, кажется, это были «Колющие и режущие предметы», будет и моя фамилия. Но Апс сразу почувствовал мою реакцию, обиделся и не стал настаивать. Назвал «истым эстетом» и о деньгах ни слова не

сказал, а я-то как раз об этой справедливости думал, когда мчался в его офис. После пятой книги он перенес центр тяжести в другие сферы. Он купил дрожжевой цех, потом кооператив по производству эректоров, потом вечернюю газету, какой-то комбинат... С литературой после «Касательной к смерти» вроде бы было покончено (оставались, правда, несколько сюжетов, которые не были реализованы, — один из них я как раз и начинал в этой тетради, пока меня не отвлекли текущие события), но мне хватало моих гонораров. Апс их несколько раз увеличивал втрое. Кроме того, я утешал себя тем, что Апс не написал еще свою «Малую землю». Солдатенко чуть не стал мэром города, а я неплохо заработал на избирательной кампании, и казалось, что в следующий раз... И тут вдруг... Принцип неопределенности. Что делать, когда закончатся деньги? Вернуться в институт? Но института уже нет, просто здание, помещения снимает кто угодно, в том числе Апс. Не меньше половины. Подо что — непонятно. А теперь и подавно. Вчера звонил бывший сотрудник и просил занять ему денег. Я сказал, что сам на мели, и не солгал: мои вольные хлеба подходят к концу, цели поэзии таинственны, как зловещее кружение мельниц на краю голого поля в черный, голодный год. Кавычки. ВЧК. Всеобщая анаграммотность и бергамотность тчк

Я съездил к себе в гости и нашел в своем почтовом ящике письмо. Судя по дате на конверте, его отправили три недели назад, но непонятно, сколько письмо было в пути и сколько лежало в ящике, да и какое это уже имеет значение? Что бы я сделал, если бы прочитал письмо вовремя? Я не думаю, что

это бы что-то изменило. Письмо машинописное, добавить мне к нему нечего, ответить некуда. Вот письмо.

Ты лучше других знаешь, что изящная словесность еще дальше от меня, чем тяжелое машиностроение. Говорю это к тому, что если в письме мелькнут какие-то красоты, это не значит, что я вздумал отбирать у тебя твой хлеб. Как раз наоборот. Решил подкинуть тебе еще одну идею. Я придумал конец для всех твоих маринистских эскизов.

На этом месте я перестал читать, закрыл глаза и попробовал предугадать, что именно придумал Апс. Мне ничего не пришло в голову. Старые черновики, я прекрасно знаю, что если начать их переделывать, все рассыплется. Потом кирпичики можно использовать для чего-то другого. Но при чем тут конец? Конец мог бы предложить разве что поручик Ржевский. Все же я продолжил чтение письма.

Вчера ночью я сидел на пляже и думал, куда ж нам плыть? Это был неслучайный пляж, я на нем загорал в детстве. В пионерлагере имени Павлика Морозова. И там произошел такой несчастный случай: утонул мой приятель Славик Лунев. На лягушачьем пляже, представляешь? Там сеть такая натянута под водой — чтобы не могли заплывать или заходить дальше чем по пояс. Его в ней и нашли. А за два-три дня до этого со-

бирался утопиться я. Я не знаю, что произошло со Славиком, но я собирался это сделать сознательно. Перелезть через сетку, заплывать (ночью) и обмануть себя — я прочитал о том, как это сделать, у Джека Лондона. Когда я вспоминаю причину, я не могу удержаться от смеха. Я, знаешь ли, решил, что я — импотент. При этом я был еще девственником, но мне сказали, что при виде девочек на пляже должен вставать. Я стал проверять и понял, что он не реагирует. Раньше он вставал когда хотел, без всякого повода. А теперь, в период слежки (я пытался засечь хоть какое-то изменение размеров), он вообще не менялся, что по поводу, что без. А тут еще каждый вечер эти рассказы мальчиков. Я в них верил и чувствовал, что мне лучше не жить. Я не знаю, утопился бы я на самом деле или нет. Вполне возможно. Если бы не Славик. Он рассказал мне, как все это обстоит на самом деле. И даже показал, как можно управлять «жезлом нашей жизни». Я понял, что абсолютно нормален, такой же, как все, и вместо того чтобы покончить счеты, ожил, даже влюбился. А Славик утонул. Дурацкая история — вполне в духе твоих рассказов. Знаешь, сетку передвинули. Или море отступило. Во всяком случае, я уперся лицом в ту же самую сетку. А я тогда в лагере дал себе слово, что больше никогда не буду этого делать, — я имею в виду самоубийство. Что же тогда — жить в сетке? Надо было спросить Славика. Что я и сделал, и он прошептал мне вчера на ушко, что будет дальше. Было тихо, полный штиль, и вдруг

Качнулся спросонья прогулочный катер,
Привязанный к пристани пес.

А море валялось, как черная скатерть.
Я завернул в нее все и...

Я возьму кораблик, один из тех, что спуют туда-сюда между поселками, сяду туда вместе с твоими персонажами и взорву в разгар празднования Ночи независимости. Тебе остается только все это живописать. Рассказы сделай главами. В конце — взрыв. Так как у тебя уже почти все готово, ты сделаешь это в рекордный срок. Возможно, еще раньше, чем дело сделается. Может быть, у Робертсона, написавшего «Титан» за десять лет до гибели «Титаника», тоже был соавтор? За нас не волнуйся: мы будем летучим голландским coffee-shop'ом. Мальчики, девочки, взаимозаменяемость. Пончики с начинкой. Пальчики оближешь. Высосешь из пальца остальное, поставишь на обложке мою фамилию, мне она больше не нужна.

Неизвестный Солдат...

Вспомнил сейчас, как мы с Апсом отмечали первый успех и машинистка, печатавшая опус номер 1, напилась в дым. Вдребадан. Мы вроде бы были получше, но, сажая в такси, уронили ее на землю. Апс сказал, что не ожидал, что она такая тяжелая.

— Я думал, раз у тебя рука легкая, то ты и вся должна быть... Как ты думаешь, она нас слышит? — спросил он меня. Мы склонились над ней и стали искать пульс, но его нигде не было. Тогда мы схватили ее и затащили в машину.

— В Четвертую неотложку, — скомандовал Апс.

— Ты тоже не нашел пульс? — спросил я.

— Нашел, но очень слабый. Нитевидный — кажется, это так называется. Я держу его, или за него держусь, у меня сейчас что-то странное в голове... Держу, — сказал он, целуя руку машинистки, — ты наша Ариадна, мы без тебя тут заблудимся. Не хочешь на ней жениться? — спросил он меня. — Ты с ней не пропадешь никогда. Или мне самому на старости лет? А? Ты, конечно, знаешь эти слухи, которые распускала моя первая жена, — о том, что я ее избивал? Скажи честно, ты поверил, что я могу ударить женщину, или нет? Скажи!

— Я не знаю, — сказал я, — говорили еще, что она подала на тебя в суд. И что тогда-то ты и выучил наизусть уголовный кодекс.

— Это правда, — кивнул Апис, — но веришь ли ты, что я ее бил? Судьи не поверили, а ты веришь, а это обидно. Я клянусь тебе, что пальцем ее не тронул. Поворачивай, — сказал он водителю, — не надо уже никакой больницы, а то переправят ее в вытрезвитель или в изолятор сволокут, головой будет ступеньки считать, нет, везем ее домой.

Я еще раз побывал на своей квартире и снова нашел в ящике конверт, но на сей раз в нем была открытка с одной строчкой: «Только не выдавай меня». На другой стороне была какая-то абстрактная рябь. Я решил показать Карине. Сказал, что почерк — его. Кому как не мне знать его почерк. Карина сказала: «Значит, он жив и играет в юных разведчиков?» Потом она перевернула открытку и стала совершать с ней манипуляции, по которым я понял, что картинка на открытке — объемная.

— Он здесь, — сказала Карина.

— Где? — спросил я и оглянулся.

— Здесь, — она щелкнула по открытке ногтем, — попробуй сам увидеть.

— Я не могу, — сказал я, — но это означает, что о нем знают в типографии.

— Открытку он просто купил.

— Уже продаются открытки с его изображением?

— Попробуй сам увидеть.

— Не мучай меня, у меня монокулярное зрение.

— Какое? — рассмеялась Карина. — Ты смотришь из ложи и сквозь монокль?

— Это болезнь. В детстве меня даже пытались лечить — с помощью дощечки, на конце которой помещались две картинки, симметричные относительно дощечки и тематически подобранные, например: на одной птичка, на другой — клетка.

— Понятно, — сказала Карина.

— У нормального человека через минуту птичка оказывалась в клетке. А у меня до сих пор порхает.

— Хорошая болезнь, — сказала Карина.

— Может быть, ты все же расскажешь мне о том, что я не могу увидеть?

— В другом измерении открытка — это открытая шкатулка, на дне которой написано: «Я здесь».

Письмо я не стал ей показывать.

Апс пригласил меня к себе на дачу. Уже подъезжая к ее воротам, я вдруг понял природу страха, смутно сопровождавшего меня всю дорогу. Я никогда не верил слухам о его бисексуальности, но сейчас, проезжая под поднявшимися воротами, я понял, что просто мне так было проще, а на самом деле — кто его знает? Тем более беспокойно я

стал себя ощущать, когда увидел Апса. Что-то в глазах у него было не так, как всегда, он взял меня за плечи и провел в комнату, где в очаге трещали дрова, а на стенах висели головы каких-то животных. Апс сказал, что мы должны пройти определенную процедуру, нечто вроде обряда посвящения.

— Посвящения во что? — спросил я.

— В братство, — сказал Апс, — в кровное братство. Мы сейчас с тобой займемся кровосмешением. А потом мои актеры покажут нам пьесу, в которую вовлекут и тебя, но при этом тебе не нужно с ними смешивать кровь, потому что я уже это сделал, и тебе теперь достаточно это сделать со мной. — Апс внезапно поднес к губам горн и заиграл. Вошел человек в белом костюме, в руках у него были полотенце и бритва. Он молча протянул бритву Апсу, тот взял ее, закатал рукав синей в желтых буквах рубашки и сделал себе надрез возле локтя. Тонкие струйки крови побежали наперегонки по его руке. Апс поднес руку к моему лицу, и я увидел, что струйки бегут в точности по голубым линиям вен. Апс протянул бритву мне. Я провел лезвием по коже. Жидкость, которая потекла из моего пореза, оказалась синего цвета. Это были чернила. Апс поперхнулся от хохота, и тогда человек в белом костюме и, возможно, в чалме стал хлопать его между лопаток ладонью. Это все, что я вспомнил, проснувшись. Никакого спектакля не было или я его забыл.

Вчера в опере заезжая американская труппа давала «Кармен», и посреди второго акта у солистки начал пропадать голос. По этому поводу была срочно вызвана Карина (вот для чего нужен сотовый теле-

фон), я остался коротать вечер один, мне стало тоскливо, я решил пойти к Силью. Силь снимает комнату в коммуналке с огромным количеством соседей. Соседей, впрочем, Силью оказалось мало, и он развел еще некоторую живность прямо в комнате — у него живет черепаха, две или три кошки и еще какая-то пятнистая хищная тварь плавает в аквариуме. Посреди всего этого ковчега, среди сложенных штабелями картин, сидел подстригшийся налысо Силь и смотрел на свою руку, в которой с тихим волшебным звоном перекачивались два блестящих шарика. Дверь мне открыл человек, представившийся Артемом. Я сел в какое-то новое, хотя на самом деле очень старое кресло и поставил на столик бутылку.

— Давно тебя не видел, — сказал Силь.

— Ты и сейчас меня не видишь, — сказал я.

Силь по-прежнему смотрел на шарики.

— Ты прав, — сказал он.

— Силь одичал, — сказал Артем, — я как раз говорил ему, что надо выходить иногда наружу.

На колени к нему запрыгнула кошка. Он погладил ее и спросил, как ее зовут.

— Силь, — сказал Силь, — ее зовут Силь.

— А вон ту?

— И ее так же. Хочешь узнать, как зовут третью?

— Нет, я понял. Но это нехорошо. Это пошло. Ты должен переименовать животных. Назвать их своими именами.

— Может быть, ты хочешь, чтобы я и вещи называл своими именами?

— Конечно.

— Тогда ты теперь тоже Силь.

Артем поморщился.

— Нет, дорогой, я — это я, — сказал он, — а ты — это ты. Тебе ни фи́га не нужно, а мне, напро-

тив, нужна слава, нужны деньги. Мне много чего нужно. Потому что я — это я. А ты — это ты. Повторяй за мной, и я тебя вылечу от силипсизма.

— Меня уже вылечили, — сказал Силь, снял рубашку и показал нам спину. Она была в круглых коричневых колечках. — Помнишь Лину и Асю? — спросил он меня. — Мангупские девочки, такие пузырьки земли, ну, вспомнил? Ты бы их не узнал — растут, как грибы, которые они едят. Они жили у меня весь прошлый месяц, зашли как-то и зависли. У меня было воспаление легких, так они ставили мне банки, играли у меня на спине в шашки и что-то кололи в задницу. Когда я подстригся под ноль, они стали играть в крестики-нолики на моей голове, видишь, последняя партия до сих пор не отмывается.

— Я думал, что это татуировка, даже прочел. Может, это твоя мысль была? — спросил Артем.

— У меня нет мыслей.

— Ну, может, девочки тебе приписали.

— Нет, до этого не дошло, и ты мне тоже ничего не приписывай. Вообще, с ними было бы хорошо, — вздохнул Силь, — если бы они не играли на скрипках свою странную музыку. Я как-то сорвался и перекусил струны плоскогубцами. Они обиделись и ушли. Но после них у меня появилось к себе совершенно другое отношение, точнее, к своему телу.

— Я все же не уверен, что они тебя вылечили, — сказал Артем, — да ты и сам не знаешь, что они тебе кололи. А вот меня Люся на самом деле вылечила. Я вам не рассказывал, как мы с ней познакомились? Я сидел в парикмахерской. Меня стригли, а я сидел с закрытыми глазами. Когда я их открыл, я увидел в зеркале себя самого в короткой юбке. Хотя в кресло я садился в брюках. Ноги были выбриты, или это

вообще были другие ноги. Веришь, у меня дыхание перехватило. Я перед этим, за день до этого, провел сутки с какой-то шпаной, накурились так, что я до сих пор был «стоунд» и вот не мог теперь глаз отвести от выросших у меня новых ног. Ноги были потрясающие, и когда до меня наконец дошло, что зеркало только над столиком, а ниже — ничего нет, чистое пространство, и ноги принадлежат не мне, а сидящей напротив меня клиентке, захотелось их пощупать. Я протянул руку в зазеркалье... Короче, было много визга. Вот так я познакомился со своей прекрасной половиной, а ты на моем месте так бы и остался во власти оптического обмана.

— Мда, замысловато, — сказал Силь, — надо выпить.

Мы выпили вино «Медвежья кровь», после чего Артем вышел и пришел с бутылкой коньяка «Коктебель», глоток которого вызвал у Силя странное воспоминание.

— Я тебе не говорил, что ко мне заходил Апс? — спросил он меня. Артем на Апса никак не прореагировал, из чего я сделал вывод, что он из другого города. Оказалось, что он даже из другой страны.

— Когда? — спросил я.

— Теперь уже давно, — сказал Силь, — я не помню. Но я помню, что это было уже после того как все встали на уши.

— Ты мне не говорил, — сказал я.

— Но я тебя с тех пор и не видел. Я даже думал, не исчез ли ты с ним вместе?

— И что он тебе говорил?

— Ничего особенного. Не помню.

— Он не ночевал у тебя?

— Нет, посидел и ушел. Спрашивал, не еду ли я в Крым.

— Так может, он сам туда поехал?

— Почему бы и нет? — пожал плечами Силь. Видно было, что этот разговор ему уже неинтересен. Я попрощался и пошел встречать Карину.

Днем я побывал там, где когда-то был «Сквозняк». Это место теперь загорожено бетонной стеной, и мне бы никогда не пришло в голову, что сквозь нее можно пройти, если бы я не увидел, как это делает прохожий в кожаной куртке. Между краем стены и фасадом здания оказался зазор. Как я и думал, никакой стройки там не было, хотя, возможно, что-то когда-то начиналось. Прорыты траншеи, все деревья спилены, а от самого «Сквозняка» вообще ничего не осталось, ни стойки, ни столиков. Повсюду гладкие пни. Человека, вслед за которым я попал туда, уже не было, очевидно, в параллельной стене тоже был зазор. Я увидел, как сквозь него прошла Маша. Она пошла по тропинке мне навстречу, вот она уже узнала меня и помахала рукой. Я подумал, что Маша совсем не изменилась, хотя она менялась очень быстро, прямо на глазах, видимо, у нее был период, как у рационального числа, и вот снова 54321.

— Тебе не страшно? — спросила Маша.

— Чего? — спросил я.

— Я не знаю, как сказать.

Она закурила и одновременно положила голову мне на грудь. Второй раз она, как будто по ошибке, поднесла сигарету к моему рту. Я сделал затяжку.

— У меня такое чувство, как будто я с утра надела город наизнанку, — сказала она, — не то, не слушай меня, лучше...

Это действительно было лучше, то есть это было уже полным бредом, — Маша что-то бормотала на языке, похожем на старославянский, и сильно раскачивалась у меня на коленях, так что мне стало казаться, будто она вознамерилась сломать сук, на котором сидит, я положил руки ей на ключицы, остановил ее и стал двигать им самостоятельно, после чего Маша перешла на что-то больше похожее на татаро-монгольский.

Я предложил проводить ее домой, но Маша сказала, что в этом нет никакой необходимости. Она не смогла сесть в троллейбус, и мы стали ждать следующего. Шел дождь, но парень, продававший книги с лотка, не накрывал их клеенкой, я пробежал глазами по обложкам и перешел к цветочному лотку. Я купил голубые гвоздики. Увидев их, Маша поморщилась.

— Знаешь, как они получаются? — спросила она. — Им впрыскивают в стебель чернила. Шприцем. Представляешь, какой кошмар? Выбрось их.

Я спросил, не хочет ли она оставить мне свой телефон. Она попросила ручку, но у меня не было. Она поискала глазами и, увидев объявление на столбе, сорвала два лепестка с номерами телефонов и протянула мне.

— Это твой, а на другом клочке был мой? — спросил я.

— Ну да, я позвоню этим людям и скажу им свой телефон. И ты тоже можешь позвонить. Очень просто.

Я перешел площадь, погулял по парку и вышел к Оперному как раз к концу репетиции. Карина была уже внизу и, увидев меня, быстро пошла навстречу. Мы забрели в открытое кафе, взяли на двоих один бифштекс, один нож и две вилки, коньяк для

Карины и для меня стакан прасковейского муската. Она тихонько напевала Генделя, что-то из «Сотворения мира», к тому же вышло солнце, листья на деревьях вздрагивали от неосязаемого ветерка, и Карине показалось, что выражение моего лица как-то диссонирует со всей этой идиллией.

— Что-то еще случилось? — спросила она.

Я сказал, что встретил девочку, которая была чем-то испугана, и ее состояние частично перешло ко мне.

— Можешь передать его мне, — сказала Карина, теребя крестик, — я хочу почувствовать, что чувствуют девочки. Только не говори, что мне это не нужно, потому что я сама девочка. Я никогда ею не была. Я родилась женщиной.

— Хочется курить, — сказал я, — но я поспорил.

— С кем?

— Угадай.

— С Апсом?

— Да. И у меня уже нет той суммы, на которую мы поспорили.

— Но ведь... Нет, ты прав, в любом случае это было бы предательством — сразу взять и закурить. Лучше поцелуй меня.

РОЗЫГРЫШИ

После третьего звонка он издал тихий стон и оторвался от компьютера.

За дверью стояла высокая простоволосая девушка. Лицо ее показалось Андрею немного опухшим. Взгляд — слегка хулиганским. Вместе с тем она была довольно красива. В халатике, в тапочках. Андрей подумал, что это какая-то новая соседка. Он предложил войти, но она покачала головой.

— Я зайду, если ты выключишь свет, — сказала она.

Андрей потушил свет в коридоре. Но этого оказалось недостаточно.

— И в комнате.

Голос у нее был хриловатый. Андрей пошел в комнату — сам себе удивляясь. Когда он вернулся, в дверном проеме никого не было. Он постоял минуту, пожал плечами и закрыл дверь. Включив в комнате свет, он увидел, что девушка сидит под окном на полу. Она выпрямила ноги, прислонилась спиной к стене.

— Только ты на меня так не смотри, — попросила она.

— Как?

— Никак не смотри. Я сейчас тебе все объясню, только ты пообещаешь, что никому никогда... Сядь за свой компьютер, он заслоняет твое лицо, ты тогда сможешь со мной говорить. Скорее, ну пожалуйста... Что ты сейчас делал?

— Набирал статью для газеты.

— Криминальная хроника?

— Да нет. Об одной премьере.

— Если мы с тобой будем неосторожны, на месте твоей статьи появится твой некролог. И мой — где-нибудь в уголке.

— Я думаю, они будут рядом; — предположил Андрей.

— Тебе видней, — сказала девушка, — я тебе не угрожаю, я просто хочу, чтобы ты смотрел правде в глаза. Я сейчас скажу, куда смотреть, только ты головой не особо двигай, она у тебя и так правильно повернута. Видишь шестнадцатизэтажку напротив? Отсчитай четвертый сверху этаж. Видишь окно?

— Вижу. Окна образуют Большую Медведицу — редкое явление. Не хочешь взглянуть?

— Не могу. Ты видишь окно на тринадцатом этаже? Говорят, за границей нет тринадцатых этажей, после 12-го сразу идет 14-й, это правда? Не важно, главное, что у нас есть тринадцатый этаж, и ты его видишь. Видишь окно с красными занавесками?

— Ну да.

— Ты не видишь за занавеской силуэт?

— Нет, — сказал Андрей, — но я могу поискать театральный бинокль.

— Не вздумай. Сейчас я все объясню. Слушай, а почему у тебя нет занавесок? Тебе не приходило в голову, что за тобой легко подглядывать?

— Мне все равно, — сказал Андрей.

— А твоей подруге? Которая приходит к тебе через день?

— Я думаю, ей это тоже безразлично.

— Ну вот, а теперь знай, что мой приятель уже давно подглядывает. Но не в бинокль и не в подзорную трубу, а в прицел винтовки. Он киллер. Но вас

он не собирался убивать. Он без вас уже не может, понимаешь? Он и мне дает посмотреть.

— И что дальше?

— И мне захотелось к тебе зайти. Я понимала, что это стремно, но ничего не могла с собой сделать. Нет, если ты хочешь сесть на пол, потуши сначала свет.

— Бред, — сказал Андрей, — я не верю. Но и экспериментировать у меня нет особого желания... Я думаю, тебе лучше уйти.

— Ты боишься. А как же я? Одна?

— Почему одна? У тебя есть этот друг...

— Ты не понимаешь ничего! Я с ним только потому, что боюсь. Он ненормальный. Он стреляет не только за деньги, часто сидит на какой-нибудь крыше и... Регулирует поголовье — так он это называет.

— Тогда надо звонить в...

— Ты что, псих? Куда звонить? Ты представляешь, на кого он работает? Да он сам оттуда...

Андрей встал, прошелся по комнате и выключил свет. Совсем темно от этого не стало, потому что в окне были огни. Он сел на пол возле девушки.

— Даже если предположить, что это не бред... У него ведь нет прибора ночного видения?

— Нет. Но все равно давай останемся на полу. Ты же любишь на полу...

— Ты все знаешь, да?

— Почти. Он не любит, когда вы перебираетесь на пол, он тогда не видит. Знаешь, он один раз так разозлился, что хотел пристрелить тебя сразу после того как вы... А мне тогда захотелось к тебе зайти.

Андрея давно уже забавляла одна странная закономерность: как только познакомишься с ка-

ким-то человеком, сразу начинаешь его встречать в городе. Поэтому он даже не удивился, когда увидел на противоположной стороне улицы девушку, с которой за два дня до этого не то чтобы познакомился... Пришелица была теперь в длинном синем платье и держала под ручку лысого веселого дяденьку. Андрея они не успели заметить, он повернулся и прошел в подворотню, а потом дальше, сквозь арку, на другую улицу. Там было маленькое открытое кафе. Андрей сел за столик, заказал чашку кофе, сто грамм арахиса и, щурясь от солнца, стал рассматривать стену. Половину дома снесли, и стена из внутренней превратилась во внешнюю. Андрей видел границы не существующих более квартир, пятна ободранной штукатурки, похожие на синеватые человеческие тени. Он подумал, что надо купить занавески до Олиного прихода. Или сразу не стоит? Если все это правда, можно его разозлить. Но что делать? Дальше, как раньше? Андрей представил себе, как они с Олей будут это делать под прицелом. Надо было попросить пришелицу тоже раздвигать иногда занавески... Но куда нас приведет такая синхронизация? Скорее всего, это бред, но на всякий случай... Андрей решил, что надо поговорить об этой ситуации с Чилиным.

Чилин сначала слушал его внимательно, не перебивая. Но потом рассмеялся.

— Ну сам сядь на мое место и подумай, что тут можно сказать. Девка, по всей вероятности, безумна. Может, вообще лунатичка, а?

— Но почему ты думаешь, что этого не может быть, ведь все время кого-то, только и читаешь...

— Да, но это прицельно. Ну сам подумай, что она несет — сидит на крыше, стреляет наугад... Где эти случайные подстреленные?

— Где, где...

— Хотя, ты знаешь, я недавно прошелся пешком в районе вокзала и поймал себя на мысли, что санитарный такой отстрел... Скажи честно, когда ты смотришь на некоторые физиономии, у тебя никогда не бывает мысли, что... Ладно, я пошутил, а ты, я смотрю, все всерьез воспринимаешь, вот тебе снайперы уже мерещатся да пирожки с бомжатинкой, хе-хе! Надо проще быть, поверь моему опыту. Созвонимся, ладно?

На полу возле плинтуса он нашел ключ. Полез в карман, достал свой и приложил к нему найденный. Ключи были идентичны. Значит, это не пришелица, это Оля обронила. Андрей положил один ключ на стол, другой в карман, сел за компьютер и стал выстукивать статью о ситуации в Художественном музее. Там произошло самовольное снятие работ фотографа Покровского. Возможно, самого известного за границей жителя нашего города. Нельзя не признать, что это был глас народа, — писал Андрей, — служителей музея поддержали работницы гардероба. Они заявили, что не будут работать, если фотографии снова повесят. Все они женщины пожилые, всю жизнь работали за копейки, но забастовку впервые решили объявить вовсе не из материальных соображений... Зазвонил телефон, в трубке был Олин голос.

— Я сегодня не приеду, — сказала она.

— Почему? — спросил Андрей.

- Я устала. Целый день бегала как ненормальная. Не обижайся. К тому же у меня еще месячные.
- А завтра?
- А ты хочешь? Мне последний раз показалось, что я тебе надоела.
- Мне надоело только вот это слушать, хватит, я тебя прошу.
- У тебя и сейчас такой тон, как будто я тебя раздражаю.
- Да нет же. Может быть, я тебя?
- Ужасно. Но другие еще больше.
- Ты хочешь сказать, что я — наименьшее из зол?
- Ты вообще не зол. Хотя... Когда ты сказал Корневу, как будет называться твоя статья о его книге, я в этом усомнилась.
- А как она будет называться?
- Ты не помнишь?
- Нет.
- Ты сказал, что статья будет называться «Графомания как форма современной литературы».
- Правда?
- Ты на самом деле не помнишь? При этом рядом сидели его музы, так что можешь себе представить, каков был эффект...
- Да ладно, не ври. Я мог тебе это сказать, но Корневу...
- Ты был пьян, хотя с виду не настолько. Я тогда подумала, что совсем не знаю тебя.
- И тебе это понравилось. Что во мне тоже бес сидит.
- Не знаю. Может быть. Совсем без скандалов скучно. Хотя мне стало жаль Корнева, он сразу стал уменьшаться в размерах, как шарик, из которого вынули затычку... А ты тогда начал пытаться его об-

ратно надуть. Ты начал вливать ему какую-то бодягу об авторе и персонаже, об отсутствии дистанции между ними не только в корневской прозе...

— Вот это я как раз помню, я даже уже начал это писать...

— Зачем? Статью все равно теперь не примут, ты же знаешь, что Главный хочет сделать Корнева местным Прустом...

— Но я не против...

— Но ты сказал. Лидия, одна из муз, объявила, что она знает, зачем ты это делаешь. Что ты производишь опыты над людьми. Цветовые тесты. Произнес название статьи и уставился на бедного Корнева: что с ним будет, побледнеет, покраснеет или позеленеет? Ей кто-то сказал, что ты — психолог по образованию.

— Слушай, а как ты думаешь, мог бы Корнев меня за это убить?

— Не знаю, если бы такая статья на самом деле вышла...

— Но ты же не читала статью...

— Статья с таким названием. Я думаю, да, мог бы. Во всяком случае, желать этого. А что, в тебя уже стреляли?

— Пока нет. Самое смешное, я даже не могу сказать, что его книга мне не нравится, местами...

— Зачем же ты тогда? Может, ты хотел отбить его муз?

— Чтобы они диктовали мне такую же чепуху?

— Ты только что сказал, что тебе на самом деле нравится.

— Местами. Но если бы я почитал служебные записки какого-нибудь страхового агента, они могли бы мне еще больше понравиться. Собственно, это я, видимо, и хотел сказать таким названием...

- И ты считаешь, что это не оскорбление?
- Ничуть. Это было бы что-то в духе Фуко. Смерть автора и тому подобное.
- Ладно, я пойду спать.
- Спокойной ночи.

Ночью его разбудили выстрелы. Скорее всего, это были петарды. Они продавались в каждом ларьке, благо самым большим (из продолжавших работать) заводов города был пиротехнический. Андрей почувствовал кислую тоску в пустом желудке и вспомнил, что целый день ничего не ел. Утешало в данной ситуации то, что базарчик возле станции метро стал круглосуточным, и, опустившись на исцарапанной батисфере лифта в прямоугольную пропасть, можно было достать со дна хлеб, сосиски... Да все что душе угодно, только бы «кислорода» хватило.

Интервью он взял днем, так что на концерт можно было уже не идти. Андрей, мягко говоря, не был поклонником группы. Но для очистки совести он все же пошел. В первом ряду, через ряд от себя, Андрей увидел прищелицу. Лысого весельчака рядом с ней не было. Кричать при таком грохоте было бесполезно, подойти — трудно, да и нужно ли? Еще тогда, после этой своей вылазки, оставляя его лежать на полу возле батареи, она, завязывая поясok халата, ответила на его вопрос. «Никогда, — сказала она, — это очень опасно, но дело даже не только в этом... Просто больше одного раза мне на самом деле не хочется... Вот такая я, что теперь делать...» Андрей свернул в трубу афишу, которую ему пода-

рил гитарист «Сук-куба», нагнулся, и другой край трубы оказался возле уха девушки. «Привет!» Она вздрогнула и обернулась. Андрей увидел, что это другая девушка. «Простите, я обознался!» — крикнул он. Она, конечно, не услышала. Но не приставлять же трубу к ее уху второй раз... Андрей стал пробираться к выходу.

Стоя у дверей в квартиру, он понял, что обознался в этот день не однажды. Он не мог вставить ключ в замочную скважину. Это был не тот ключ. Это был ключ прищелицы. Но какого черта? — думал Андрей. — Я же прикладывал один к другому. Не все видно невооруженным глазом. А вооруженным? Андрей опустился на ступеньку. Ключ был еще у Оли, и бог знает у кого... Никто никогда не возвращал. Даже уезжая насовсем за границу. Эта мысль, как ни странно, принесла облегчение, в ней был какой-то неясный намек... «Дело было вечером, делать было нечего», — сказал Андрей и включил диктофон на воспроизведение. Он услышал: «Раньше, когда я работал автомехаником, внутри у меня кто-то все время играл на электрогитаре. Когда я умер, в голове играть перестали, но я сам очутился на сцене, в руках у меня «Gibson», после того как вступил ударник, пальцы сами собой забегали по грифу». — «Вы выступали под фонограмму?» — «Нет, это в прошлой жизни все было под фонограмму...» Андрей выключил диктофон. Интервью с соло-гитаристом «Сук-куба» предстояло набрать и отослать до десяти вечера по электронной почте в редакцию. Пиши пропало. Он позвонил в дверь к соседке. «У меня дверь захлопнулась. Можно я от вас позвоню?» Можно. Набрал Олин

номер, послушал, как Оля произносит одну и ту же фразу на трех языках: «Меня сейчас нет, но вы можете...» Темнело, надо было что-то решать с ночлегом. Андрей вынул из кармана чужой ключ, провернул его в воздухе.

Квартира была однокомнатная. Он перерыл содержимое шкафов, заглянул под кровать, раздвинул кирпичи, которыми была заложена ванна. Вернулся в комнату и сел на пол, прислонившись спиной к кровати. Антресоли, — вспомнил он, — но нет, в этих квартирах нет антресолей. Он чувствовал, что вот-вот уснет. На полу лежали спицы и начало какой-то вязаной вещи. Андрей потянул за нитку, клубок начал разматываться. Все же он решил проверить. Прошел на кухню и увидел под потолком белые, крашенные масляной краской дверцы. Со стороны коридора их заделали и покрыли обоями. Андрей встал на табурет, снял крючок, дверцы распахнулись, на антресолях было так пусто, как будто Андрей был первым, кто догадался об их существовании. Он подтянулся и залез внутрь. В духоте узкого ящика его разморило окончательно, он куда-то провалился, а потом очнулся в поезде, на верхней полке в плацкартном вагоне. «Стоим», — сказал голос. «Едем», — сказал другой. «Стоп-кран сорвали. Стоим». — «Да как же, колеса стучат, стыки, слышь?» — «Мало что стыки! Тут чуть стыковка у нас не произошла — навстречу поезд шел, хорошо мне по рации передали, я стоп-кран и сорвал. Скажи спасибо, а то был бы тебе «Союз—Аполлон» с выходом в открытый космос!» — «А что стучит?» — «Да это парень на верхней полке, связист». — «Стыки в домах тоже есть.

Там мыши бегают». — «Нету там мышей никаких, не ври. Мыши во сне — не к добру, ни к чему нам тут мыши». — «Так мы же не во сне». — «Вон звонят тебе». — «А чего это мне? Может, это тебе. А может, ему. Эй ты, тебе звонят!»

Андрей выполз из антресолей вместе с винтовкой с оптическим прицелом и глушителем. В дверь снова позвонили и сразу после этого нетерпеливо ударили по ней два раза кулаком или ногой. Андрей потер глаза, снял предохранитель и выстрелил в стенку. Что-то разбилось у него за спиной, пуля рикошетом...

— Галя, открой, я все слышу! — прокричал голос за дверью.

Андрей сел на пол возле окна, направив ствол винтовки на дверь.

— Открой, не дури. Или мне ломать?

Еще раз позвонили, а потом раздался скрежет. Дверь открыли, нажав на щеколду лезвием ножа.

— Здравствуй, — кивнул вошедший, — открыть не мог? Я думал, с Галей что-то случилось. Ты ее не видел?

— Я даже не знаю, о ком идет речь, — сказал Андрей.

— Галю не знаешь? Не может быть, ее же весь микрорайон ебет. А чего ты пришел? Семечек хочешь? Не стреляй, это семечки, тыквенные, видишь? Полезные очень, даже глистов выгоняют. У тебя нет глистов?

— Если ты будешь задавать такие вопросы, я спущу курок.

— Ты отморозок? Я сразу не понял. Ну тогда для тебя глисты — это кайф, ты жив, а тебя уже

черви грызут. Ты и мертвый, и живой одновременно.

— Я стреляю.

— Что, просто так вот в людей стреляешь? Из-за каких-то глистов?

— А ты? Расскажи, зачем ты это делаешь.

— Галя растрепалась? А ты и поверил? Я — другое дело. Люди сами меня просят. Ты знаешь, какая жизнь сейчас, сколько людей себя газом отравляет? Газ опасен для соседей, а я все делаю четко, ко мне никаких претензий нет. И они мне за это деньги платят. Я их хороню потом из этих денег. Опустиствол. Если ты выстрелишь, ты убьешь и себя, и меня. Потому что я сейчас — это и ты. Ты из себя вышел. Как рачок-отшельник. И полез в чужую ракушку. Оглянись, ты увидишь, что ты — там, в своем окне, подруга к тебе пришла, ты снимаешь с нее одежду, еще в прихожей, в комнату заводишь ее уже голую, посмотри, посмотри... Боишься оглянуться? Ну держи меня на мушке, я тебе в зеркале покажу. Чё на зеркало пенять? Можно возьму? Видишь? А так? Видишь. Я знаю, что ты видишь.

Андрею вдруг показалось, что он уже не может и пальцем пошевелить. Перед ним стоял человек с окном в руках, и в окне на самом деле были два голых тела, и он покрывал поцелуями ее шею, грудь, он встал перед ней на колени...

— Открою тебе секрет: я ни в кого не стреляю. Все сами это делают. Если ты выстрелишь в зеркало, ты убьешь и меня, и себя. А если ты выстрелишь вон туда, в окно, ты перейдешь на другой уровень. Как в компьютерной игре.

Человек стоял перед Андреем и улыбался. В руках у него было зеркало, он закрывался им, как щип-

том. Андрей видел себя, он полз по-пластунски, на месте, как будто попал в капкан, Олины руки схватились за батарею, этого не могло быть, это был сон, только во сне бывают такие ватные ноги, ватные пальцы, попробуй, шевелятся они еще или нет, просто попробуй, да мне ведь стоит только пальцем пошевелить, и осколки будут повсюду... Даже на улице, на асфальте осколки все время попадались ему на глаза. Пока он не увидел лужу. В ней плавали огни домов, и она была формой похожа на зеркало, которое разбилось. Казалось, зеркало срослось, склеилось из обломков, и сейчас человек, который под ним лежит, встанет и пойдет навстречу... Андрей смотрел на лужу, продолжая сгибать указательный палец. Потом медленно перешел ее вброд и вышел к ночному базарчику. Какому-то другому. «Или это перрон? — подумал он. — А где поезд? А поезд ушел». На лотках среди разложенного провианта полыхали свечки. Старухи спали, стоя, монотонно повторяя какие-то мантры. Моросил дождь. Андрей купил бутылку водки. Отошел в сторону. Под ногами была каша из давленных фруктов, соломы. Он свинтил крышечку и сделал три больших глотка.

МАМА РОЗА

Я не собирался снимать у мамы Розы комнату. Я надеялся застать у нее Влада. Конечно, надо было сначала искать квартиру, а потом уже старых знакомых. По-моему, я просто посмотрел на часы и вспомнил, что надо переставить стрелки. И после этого вспомнил про Влада. Может быть, потому, что Влад работал когда-то стрелочником и проводником по совместительству.

Я пошел к маме Розе почти наугад, потому что был у нее один раз и шел тогда с Владом, а когда я иду с кем-то, я плохо запоминаю дорогу. Нажимая на кнопку звонка, я готов был сразу признать ошибку.

Дверь открыл незнакомый человек. Но маму Розу он знал.

— Мама Роза умерла, — сказал он, — отравилась ряженой водкой.

Я вернулся на набережную, взял в киоске стакан хереса и сел за столик.

Когда рядом поехал поезд, я увидел, что в стакане еще есть вино.

Поезд шел товарный.

Вагоны были бордового и бурого цвета.

Между ними вспыхивало море.

Накануне соседи по купе напоили меня водкой с каким-то голубоватым отливом. Я предлагал ее не пить, но один из попутчиков убедил меня. Он взял бутылку двумя руками, взболтал и сказал: «Видишь смерчик из пузырьков — от пробки до дна? Видишь. Значит, смело можно пить».

После этого я сидел на набережной и цедил херес, но это еще не подтверждало правило смерчика-буравчика.

Во всяком случае, для полноты доказательства надо было бы взболтать бутылку, из которой пила мама Роза.

Влад, когда я три года назад встретил его на набережной, настаивал на моем визите к маме Розе на том основании, что для «человека пишущего» такие встречи необходимы. Я упирался. С его слов я довольно четко представлял себе эту женщину, я уверял Влада, что у меня таких впечатлений более чем достаточно.

— Мне для этого нужно только дойти до вокзала, если не просто выйти на улицу. А я не только дошел до вокзала, но и взял билет, проехал сколько-то там тысяч километров, встретил тебя...

Но каким-то образом ему удалось меня уговорить. Я купил две бутылки, и мы пошли.

Ко всему еще дом оказался расположенным высоко на горе. А потом пятый этаж без лифта — на закуску.

Одну бутылку мы выпили вместе, а вторая чуть не стала причиной поножовщины между мамой Розой и неким Иваном Анатольевичем, ее товарищем, или мужем, я не пытался понять.

Маленький, сухонький приморский алконавт.

Влад уговаривал меня остаться у нее с какой-то странной настойчивостью.

Зимой я встретил Влада в мастерской одного скульптора, и он рассказал, что по квартире мамы Розы теперь проходит передовая армяно-азербайджанского конфликта. Его просто сбросили с балкона ворвавшиеся в квартиру боевики. Влад го-

ворил, что не пострадал, потому что угодил в уникальный для тех широт сугроб.

Очевидно, тот же самый, из которого его когда-то и выкопала мама Роза. Она его отогрела, и он прижился у нее на целый год или даже больше. Как он попал в сочинский сугроб первый раз, Влад не помнил.

Его рассказы о том периоде вообще были довольно бессвязны: прикуп, прикид, приход... Возможно, он узнал прикуп.

По словам Влада, в ней текла какая-то огненная смесь кровей: армянская, еврейская, греческая. Если еще и не турецкая.

Она сжимала мою руку своими горячими руками и смотрела в глаза так долго, что я, по-видимому, должен был задымиться. Она не привыкла, что кто-то так долго выдерживает ее взгляд. «Ты что, ебнутый?»

Тогда я был уверен, что Влад уговаривал меня к ней зайти, а потом остаться, потому что сам был одновременно найденным сыном и любовником и хотел сделать маме приятное, зная, что ей мало одного такого ребенка.

А теперь мне казалось, что была и другая причина: Влад хотел устроить мне экскурсию в Лимбы.

Она говорила о себе в третьем лице.

— Мама Роза все знает, и все знают маму Розу...

— Как мама Роза скажет, так и будет...

— Оставайся у мамы Розы, у мамы Розы все тихо, все спокойно...

— Маму Розу все боятся, маму Розу ограбили, так сразу все были на ушах, нашли воров и привели ко мне — что скажешь, то мы с ними и сделаем...

Она говорила о себе в третьем лице, и поэтому ее фразы, всплывавшие в памяти, сливались с моими мыслями о ней.

Из тоннеля вынырнул очередной поезд.

Попутчик, с которым мы пили по дороге, дал мне газету «Совершенно секретно», и я прочел в ней, что по земле блуждает поезд-призрак. Появляется здесь и там с перерывами в десятилетия.

Пассажирский, а передо мной шел товарный.

Вокруг меня.

Я отворачивался раньше, чем проходил состав, и поворачивался не сразу, когда появлялся следующий. Поэтому мне казалось, что поезд едет один и тот же.

Сидя в заколдованном круге, я смотрел по сторонам и думал о том, что поздно искать квартиру. Лучше еще выпить.

Было облачно, и стемнело как-то сразу. За соседним столиком стаканы наполнились «Южной ночью», и кто-то начал произносить длинный тост: «Я жилаю вам прожить жизнь так, чтобы потом не было мучительно обидно...» Когда я посмотрел туда через несколько минут, за столиком никого не было. Я оглянулся по сторонам и понял, что я — последний посетитель.

Включился береговой прожектор. Полосы дня стали прорезать ночь в разных направлениях.

На мгновение открытое кафе, в котором я сидел, оказалось внутри луча. Я увидел, что за соседними столиками все стулья перевернуты вверх тормашками.

Как будто луч на мгновение создал вокруг меня перевернутую проекцию мира, от которого я был огражден непроницаемыми черными стенками.

Луч ушел в сторону и стал летать над водой.

Когда он остановился, я увидел бесконечный коридор с затопленным полом.

Прожектор погас.

После этого воздух, перемешанный светом, какое-то время был разреженным, даже немного прозрачным.

Но вскоре темнота стала уплотняться.

Рядом с кафе был единственный в округе фонарь. Он теперь с трудом освещал свой столб. Набережная еще немного фосфоресцировала, поблескивали металлические листья лавровишни, а дальше, за рельсами, начиналась кромешная тьма.

Шорохи выдавали притаившееся там море.

Я думал было перейти по мостику на пляж, но, увидев, что просветы между тучами полностью срослись, спать под таким небом не решился. Встал и пошел к вокзалу.

Я еще надеялся застать там старушек с картонками, на которых написано: «Сдается комната».

Не исключено было и то, что я увижу среди них маму Розу. Мало ли кто что говорит.

Но старушек вообще уже не было. Обычно они стояли перед выходом из здания вокзала. Теперь над ним висело табло световой рекламы, по которому бежала строчка:

КУПЛЮ ИКОНЫ ДОРОГО. ПРОДАМ ЧИСТЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ.

И номер телефона. Других предложений не было. Строчка была бесконечна, как товарный поезд, в котором мне теперь захотелось ехать, зарывшись в солому.

И я пошел к другому табло — с расписанием поездов, и стал намечать какой-то немислимый маршрут, но в кассах оказалось, что я — не единственный, кто хочет ехать в Тьмутаракань. Более того — все билеты были проданы.

Я купил на лотке ночную газету, нашел свободное место в зале ожидания и стал читать статью, автор которой утверждал, что киберпространство — это и есть уже приоткрывшаяся нам часть пространства потустороннего.

Не дочитав, я сложил газету, и ее сразу попросил сидевший рядом мужчина.

Я встал и побрел по залу. Многие спали на полу и на пустых лотках, но особенно впечатляюще выглядели изогнутые фигуры в нишах, которые я принял было за статуи.

Потом я остановился и стал смотреть, как парень, которого я вроде бы видел с Владом, опустился на корточки и стал катать по полу шарик.

— Где? — спросил он меня.

Я сказал, что не знаю.

— Скажи просто так! Без денег!

Я указал. Он поднял наперсток, и оттуда выкатился никелированный шарик.

Парень выхватил из кармана купюру и протянул мне.

— Держи, ты угадал!

Я отмахнулся от его приманки и спросил, не знает ли он, где можно найти Влада.

— Не знаю такого, — буркнул наперсточник.

Он снова стал катать, хотя никто к нему не подошел, казалось, он делает это просто так, разминается, чтобы не терять форму. Его руки как бы раскатывали тесто. По табло бежала та же самая строчка, и, как утверждала газета... Но где теперь было поту-, а где посю-...? Когда я сам себя чувствовал таким же шариком. И одновременно болваном, пытающимся угадать то, что угадать невозможно.

Я забрал из камеры хранения рюкзак и вышел на платформу. Дойдя до конца, спрыгнул на щебень

и пошел вдоль рельсов, потом свернул перпендикулярно к ним и вскоре наткнулся на рельсы узкоколейки. Они вели от высоких запертых ворот в сторону моря. Я вспомнил, что по ним возят на вагонетках яхты и моторные лодки. Рельсы были проложены и по бетонному волнорезу, в конце которого стоял маленький подъемный кран. Здесь они кончались. Я сел и откинулся на рюкзак. Море передо мной теперь было светлее, чем воздух, и немного дымилось.

СНОП

Я подумал, что невысокий крепыш с выпуклым лбом очень похож на Снопа с бородой, и на всякий случай пошел за ним следом. Он влетел в универмаг, и там я его потерял. Я уже забыл о Снопе и просто машинально бродил по первому этажу, когда вдруг наткнулся на него в секции «Ткани». Человек, похожий на Снопа, покупал два метра ярко-желтого материала.

— Что из этого можно пошить? — спросил я.

— Костюм для моего номера, — сказал он, что означало, что это — действительно Сноп.

— Ты меня не помнишь? — спросил я. Сноп наморщил лоб.

— Воронежский цирк! — осенило его вдруг. — Ты там работал со змеями!

Он ошибался. Я познакомился со Снопом, когда его ареной стал весь Южный берег Крыма. Я помню ночной пляж Магарача, где Сноп крутил факелы так, что в воздухе возникали рунические знаки. Помню, как он прыгал в воду с Головы Екатерины — скалы, торчащей из моря возле заповедника Караул-Аба. Но познакомились мы у Козина. Я гостил у Козина неделю, и Сноп, помнится, появился не сразу, а на третий или четвертый день. Это была его первая попытка уйти от Козина, и она была неудачной. Все, что я слышал о Козине от разных людей, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Я имею в виду даже не уп-

равление атмосферными явлениями, а более земные вещи. Например, обращение с гостями. Кого-то он просто не пускал на порог, кого-то привлекал к исправительным работам, причем одни говорили, что он строит таким образом третий дом, другие — что реставрирует монастырь. Хотя скорее всего, одно другому не противоречило. К тому же все эти гости были незваными. В моем случае ничего подобного не было и в помине, хотя меня он тоже не звал и вообще не знал до этого. Мне кто-то рассказал, что, будучи в этих краях, всегда можно к нему зайти, что это такая избушка лесника. Он был очень гостеприимен, показывал мне окрестности, поил вином, читал наизусть стихи Рильке, а напоследок и свои собственные. И они, скажем, не испортили общего впечатления. Правда, когда появился Сноп, промелькнуло что-то совсем другое — я помню, как он сказал мне с каким-то бахвальством, что Сноп разбрасывает толпу из двадцати человек, но он, Козин, может парализовать Снопа одним словом. Перед тем как стать «учеником» Козина, Сноп был цирковым. И мне говорили, что он туда вернулся. Но слухам нельзя верить.

Сноп узнал меня без упоминания Козина, только имя мое он не смог вспомнить, так же, впрочем, как и я — его. Кличка «Сноп» была скорее заглавной.

— Слушай, ты должен увидеть мой номер, — сказал он.

— Конечно, — согласился я, — а где ты выступишь?

— В баре гостиницы «Ялта», — сказал Сноп, — в стриптиз-шоу «Cats». Я работаю с мечами, а моя подруга танцует в прозрачном балдахине. Ты дол-

жен это увидеть, но лучше пройти с нами, потому что билет стоит сорок долларов.

Я не возражал. До выступления было еще два часа, и мы пошли к Снопу домой. Там нас встретила его девушка. Она была на полголовы выше меня и, значит, на полторы выше Снопа. Ее монголоидное лицо напомнило мне висевшую у меня когда-то чеканку. Мне понравилось, что она приняла меня за студента, но радость эта была преждевременна, потому что она тут же признала ошибку и предсказала пределы моей молодцеватости.

— Да, похож, — сказала она, — и еще годика два будешь похож, а потом... можно выкинуть. — И она рассмеялась совсем по-детски. На стене комнаты я заметил афишу с ее фотографией и надписью «Женщина-нагваль», а ниже шел список болезней и психических расстройств, которые она исцеляла. Мне стало как-то обидно за Снопа, поменявшего Козина на, возможно, еще более нагловатую нагвалю, но за чаем она уже перестала меня раздражать, и я с интересом слушал ее рассказы про флору полуострова. Сноп вдруг прервал ее и сказал, что пишет стихи, точнее, принимает — они приходят оттуда. И сейчас как раз время приема. Анджела постучала ногтем по стеклышку циферблата, и Сноп схватился за голову. Сборы были недолгими. Он взмахнул двумя блестящими мечами, положил их в чехол, который был гораздо длиннее, чем мечи, потому что содержал в себе еще и металлическую палку. Шли они быстро, взявшись за руки. Красный костюм Снопа и черный чехол, висевший у него за спиной, делали его похожим на рыбку под названием меченосец. В гостинице случился казус: пропустили только Анджелу, а Снопу сказали, что его убрали из программы. «Ваш номер не вписыва-

ется в атмосферу нашего вечера», — сказал человек в смокинге, после чего охрана молча указала Снопу на дверь, а на меня взглянула вопросительно.

— Мы вместе, — сказал я и вышел вслед за Снопом. Я предложил выпить. Гостиница казалась необитаемой — мы никого не встретили ни в лифте, ни в тоннеле, сквозь который прошли на пляж. Там был открытый бар, пустой и темный, но с некоторыми признаками жизни. Мы даже получили свой джин с тоником.

— Я думал здесь выступить, — сказал Сноп, — обычно здесь полно людей, дискотека, но уже все разъехались.

— А как же бархатный сезон? — спросил я.

— Он начинается десятого числа — тогда опять люди появляются... Смотри, там человечки танцуют — на лунной дорожке.

Я посмотрел на море и подумал: «Начинается». Но потом я понял, что он имел в виду. Надо было совершить инверсию: сделать желтый цвет лунной дорожки фоном. Тогда видно было, что черная рябь на поверхности моря представляла собой орнамент, повторяющимся элементом которого действительно были танцоры Матисса. Я подумал, что раньше Сноп не показывал, а только рассказывал о своих видениях. Но те видения было труднее показать. Например, он не мог понять, как это я не боюсь плавать ночью.

— Чего я должен бояться? — спрашивал я.

— Да ведь столько там... Сейчас, когда ты плыл, я видел, как из моря поднялся остров, покрытый шерстью...

Так я узнавал, что едва не попал в пах моря или еще дальше. В горах появлялись рогатые птицы, лисы размером с лошадь. Но все это было, когда Сноп еще только ушел от Козина.

Он решил в этот вечер выступить по свободной программе. Я согласился его сопровождать, подумав, что сам вряд ли когда-нибудь пошел бы в эти места. По дороге Сноп объяснял, что ему позарез нужны деньги, потому что какие-то его друзья застряли в Абхазии, а там война, и он должен помочь им выбраться оттуда.

В баре, который попался нам на пути, стойка была с наклоном. Я этого не заметил, и мой бокал поехал вниз. Упал и разбился. Сноп сказал, что это кстати, потому что осколки ему нужны для номера. Но хозяин заведения не пожелал никаких номеров, и мы пошли дальше. Это был первый и последний отказ. Дальше все было так: я сидел за столик и брал себе пиво, а Сноп шел к началству. Внезапно песня Шуфутинского прерывалась, и объявлялось выступление Снопа. Один раз его обозвали ниндзей-полимером, другой раз — палиндромом. Выходил Сноп, облаченный в красный атлас, доставал мечи, бряцал ими, и они начинали мелькать в воздухе, постепенно вовлекая в движение тело Снопа. Порой все это происходило в тесном пространстве, так что и мечи, и сам Сноп порхали прямо над головами посетителей, большую часть которых составляли огромные бритоголовые мальчики с осовелыми глазками. Их раздражало уже само по себе выключение Шуфутинского и замена его музыкой Клауса Шульца. А потом еще холодное оружие, которым машут над головой. Я еще не знал, чем это все закончится, но знал, что из этого получится рассказ. Главное — не ввязаться в драку, — думал я, — она нам не нужна, чтобы созерцать игру света и теней. Мы прошли таким образом «Якорь», «Бруклин», какие-то безымянные открытые кафе с флажками «Pils». Напоследок был

бар гостиницы «Олеандра». Полумрак, вишневый панбархат. И те же самые носорожки затылки. Сноп выхватил из чехла палку, и она стала крутиться с быстротой вертолетного пропеллера. Оставляя в воздухе огненные зигзаги. Я подумал, что Сноп, машущий палкой, похож одновременно и на Дон-Кихота, и на ветряную мельницу. Ко мне подсел человек в белой майке и стал расспрашивать: кто такой Сноп, где это он так насобачился, кого мы знаем в этом городе... Потом он сходил к стойке и принес бутылку «Абсолюта».

— Мне и поговорить теперь не с кем, — сказал он, — жена ушла к любовнице. Насмотрелись, понимаешь, по видушке. Меня не пускают. Мне от них ничего и не надо — просто поговорить. Я уже сам с собой разговаривать начал.

— Это же самое интересное, — сказал я.

— Да ты чего? Это — самое страшное. Не приведи господь. У тебя-то жена есть, дети? А он тебе кто? Ты его менеджер?

Сноп закончил выступление, сел за наш столик. Они разговорились между собой, а я спросил себя, чем же закончится эта ночь в ее письменном варианте. Я почему-то был уверен, что из этого получится рассказ. Я не слушал, о чем говорят Сноп и завсегдатай, потому что не собирался писать очерк, где-то надо было дать волю фантазии. Реальных событий уже было более чем достаточно, поэтому я просто смотрел по сторонам и занимался лакировкой действительности, попутно полируя выпитое за ночь ирландским кофейным ликером.

КЛАССИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

1

В первый полдень сентября Матвей Ильич лежал на кушетке по грудь завернутый в клеенку цвета морской волны. В помещении, похожем на заводской цех. Освещение было естественное: высоко под потолком находились маленькие, но многочисленные окошки. Матвей Ильич был не одинок: вокруг него были такие же точно кушетки, и на них лежали люди, завернутые в такие же точно клеенки, под которыми тоже теплилась целебная грязь... Матвей Ильич не мог вспомнить, где он видел эти зеленые клеенки. То ли в морге, то ли в роддоме. А может, и там, и там? От клеенки до клеенки... Где-то это было. «У Пенн Уоррена, — вспомнил Матвей Ильич. Но уточнил: — Нет, там: «от вонючей пеленки до смердящего савана».

Но все равно: «всегда что-то есть».

А может, нет. Но так или иначе, попал Матвей Ильич в переплет — то ли из-за своей простаты, то ли по простоте душевной.

Впрочем, Матвей Ильич как раз думал, что диагноз был ложный, ругал себя за то, что доверился сомнительному врачу и что вообще пошел к врачу из-за вполне терпимых резей, которые сразу после визита к врачу исчезли. Зато врач его так напугал, что он послушно отправился на грязи. Вспоминая озорной взгляд уролога, Матвей Ильич предпо-

лагал даже, что диагноз мог быть чистейшим розыгрышем.

И вы тоже — глядя на Матвея Ильича, вы бы допустили, что врач решил вернуть его таким образом к особой форме существования белковых тел. Если бы вы знали, что посоветовал врач в качестве главного лекарства.

Но Матвей Ильич более склонялся все же к другой версии: время тяжелое, врачи на голодном пайке — так почему бы им не доить вымышленных больных? Ведь по возвращении из санатория Матвею Ильичу... Он периодически бормотал себе под нос эту жутковатую считалочку: *предстоит предстать перед врачом в позе, предоставляющей доступ к предстательной железе*. Курс массажа должен был включать десять сеансов по пять долларов за сеанс, и каждые полгода его следовало повторять.

Я был знаком с этим врачом, мы были коллегами, можно даже сказать, друзьями. Однажды я спросил его, зачем он делает пациентам массаж простаты, ведь сейчас считается доказанным, что это в лучшем случае ничего не дает.

— Я с этим не согласен, — сказал коллега, — да, это консервативный метод, но я его приверженец, у меня большой опыт, весьма позитивный.

— Но почитай материалы последнего сим... — начал было я, однако он меня резко прервал.

— Ты видишь этот дом? — сказал он. Мы в тот момент были у него на даче, возвращались с прогулки. Дом, на который он указывал, был в самом деле по тем временам впечатляющим. Три этажа как-никак.

— Так вот, я весь этот дом одним этим пальцем сделал, понял? — гордо сказал коллега, пока-

зывая мне палец. И больше я к этой теме не возвращался.

В общем, трудно сказать, насколько в своих подозрениях Матвей Ильич был близок к прозрению. Но в любом случае, он решил так просто не сдаваться и пойти для проверки к еще одному урологу. Ему уже успели порекомендовать другое светило. Антибиотики он купил, но принимать не стал, а на грязи поехал, потому что отпуск перенести не мог, да и разницы особой не предвидел — все равно к морю. Это на месте выяснилось, что море ему, как и всем принимающим грязелечение, разрешено лишь как объект созерцания. Купаться же строго запрещалось. И вот уже пять дней Матвей Ильич, отмывшись от грязи, бродил по берегу, заставленному лотками, ларьками и забегаловками, потом прятался от солнца в парке или в номере, а к морю приходил лишь под вечер, ложился на топчан и смотрел на звезды. Запретное море ночью тянуло не меньше, вспоминались заплывы, вообще казалось, что там его дом. Матвей Ильич приподнимался на локте, щупал вогкие жерди топчана, поднимал гальку и бросал ее в море. Амфитеатр амфибии, — говорил Матвей Ильич вслух, — амфора, амфибрахий...

Но даже больше, чем запреты, сводило с ума идиотское предписание.

— Вам нужна жена или постоянная любовница, — сказал ему все тот же врач.

— Что? — воскликнул Матвей Ильич. — Да мне уже о душе пора подумать!

— Вот-вот, я же вижу, что у вас какая-то нездоровая дихотомия, — хитро улыбнулся доктор, — и как следствие мы имеем реванш плоти!

Накануне событий, хотя каких таких событий? Просто накануне, то есть 31 августа, Матвей Ильич ехал в битком набитом автобусе в предварительные кассы и под полкой своей куртки (день выдался пасмурный), можно сказать за пазухой у себя, нашел прехорошенькую головку. Возле рынка многие вышли, стало свободнее, и девушка выпорхнула из Матвея Ильича и села у окна. Он, поколебавшись, сел рядом. Труднее было заговорить, но в конце концов он решился. «Давайте сойдем вместе на следующей и отправимся в кафе». — «Я выхожу через две — возле гостиницы», — сказала девушка. На следующей Матвей Ильич не вышел, но он не вышел и через две. «Я понимаю вашу проблему, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь», — сказала девушка перед тем как выйти, и этот ответ так поразил Матвея Ильича своей точностью, что он не заметил, как автобус доехал до конечной, развернулся, поехал назад. Мир был автоматом. Люди — автоответчиками. Это было накануне, сейчас все было снова пристойно, по крайней мере, механизмы спрятаны. Все были завернуты в клеенки. Грязь остывала, вставать не хотелось. Мимо пронеслись разносчицы. Две хохотливые плотные тетки в черных трико. Они неумоимо выбегали из дверей, пригнувшись от тяжести гигантской лепешки, которую тащили на отрезе целлофана. Подбежав к пустой койке, на счет «три» забросили на нее свою ношу. Голый асте-ник с козлиной бородкой сел в центр лепешки и взвыл — грязь была горячая. Женщины захохотали. «Почему женщины? — думал Матвей Ильич, глядя, как они закатывают человека в черное тесто. — Но хоть не черти. И глина, не смола.

Но отмывается не лучше. И тетки в этих черных трико похожи на чертей, у обеих черные кудри... В горящую избу...» Матвей Ильич отвернул клеенку, сел и вырыл из черного месива контуры своего тела. Довольно приблизительные. «Я леплю из пластилина, — тихонько запел он, уточняя свои контуры, — пластилин нежней, чем глина...» Он встряхивал руку, и комочки с чмоканьем падали в общую массу. Все лишнее он не убрал таким образом, и с кушетки поднялся не совсем еще Матвей Ильич, но черная заготовка. Остальное сделала вода, но водные процедуры я не буду переписывать. Матвей Ильич переходит из черновика в чистовик не сказать с сокращениями, это звучит как-то анатомически... с купюрами, — Матвей Ильич переходит с купюрами какой-то никому здесь не нужной валюты, поэтому он ходит от ларька к ларьку, безуспешно пытаясь их поменять, пока солнце не загоняет его в парк — на его любимую скамеечку возле неработающего фонтана. Рядом с будочкой турбюро. Сощурившись, Матвей Ильич прочел на ней заглавие нового плаката: «МИР БЕЗ ГРАНИЦ», — и вспомнил, как на центральной аллее санатория страшный бритый парень в тельняшке наставлял на всех встречных указательный палец и говорил: «Ты — глюк». Матвея Ильича он тоже включил в этот список, а потом запел: «Мое сознание не имеет границ — дайте скорее шприц!» Матвей Ильич подумал, что у него самого до сих пор не было никакого наркотического опыта. Он об этом не сожалел; стакан вина был в данный момент пределом мечтаний. У этих, допустим, нет границ, но пьяному тоже море по колено. Так я не смогу, надо что-то придумать, — сказал себе

Матвей Ильич, — или хватит думать, просто разрубить морской узел... В секту скопцов пойти. Была такая в России. Не только. Но там они только провозглашали, а здесь, как всегда, на самом деле, нет, все кончится простым ударом, — говорил себе Матвей Ильич, перемещаясь по скамейке вслед за уползавшей влево тенью. Жара была немислимая. Мыслить в такую жару значило не существовать. «Гип-гип ура!» — неожиданно сказал Матвей Ильич вслух непонятно по какому поводу. Вообще-то должность его так называлась: ГИП. Главный инженер проекта. Он подошел к фонтану, чтобы намочить рубашку. И увидел, что достает из воды сидящая на бордюре девочка. Она доставала из воды ос, клала их на теплый бетон, они начинали шевелиться. Матвей Ильич наблюдал, положив мокрую рубашку на лысину. Эдакая дюймовочка. Матвей Ильич отверг саму мысль. Солдат ребенка не обидит. Офицер тем более. Матвей Ильич был капитаном запаса. Запас кончался. Капитан должен был сойти последним. Небо заволочло, и он переехал на скамейку на набережной. Мимо прошла уже целая стайка школьниц, и Матвей Ильич вспомнил: первое сентября. Первое сентября было для Матвея Ильича каким-то трансцендентным числом. И в школу он пошел не первого, а неизвестно какого, потому что строители не успели сдать к первому школу. Кроме того, первого сентября Матвей Ильич не пришел в загс, а его невеста вместе со свитой ждали два часа. Он почти стер этот день из памяти. Даже не столько из-за чувства вины, сколько ради того чтобы не дай бог не вспомнить и не испытать заново чувство, которое помешало ему дойти до

загса. Он и сейчас поспешил вернуться от этого воспоминания, чреватого водоворотом, к тому школьному, он вспомнил, что и непервого школу открыли как-то плохо — не все двери, и возникла страшная давка, а на лестнице толпа его попросту опрокинула и побежала по нему. Вот это он вспомнил сейчас вдруг удивительно четко — холодный кафельный пол, мелькающие сверху подошвы... Какая-то дырка была в этом дне, и всегда была вероятность, что попадешь в нее снова. Матвей Ильич вдруг отчетливо понял, что сегодня же покончит с навязанным ему механизмами сценарием, со всем этим липким чернозёмом, а заодно и с сухим законом, и вообще с сухой. Он встал и пошел по набережной. Художники, сидевшие несколькими длинными рядами, издали показались ему оркестром, играющим его внутренний марш. Подходя, он понял ошибку, но ему все равно это было интересно, и он зашел к ним с тыла. Его всегда завораживало то, как художники легкими, осторожными движениями стягивают с людей лица, под которыми оказываются еще одни, часто более задумчивые...

— Напишем портрет, а? — спросила его девушка с подрамником.

— Не надо, — сказал Матвей Ильич.

— Почему бы и нет? — спросила она. Она была одета по последней погоде, которую час назад невозможно было предугадать: рыжие ботинки, джинсы, длинный свитер грубой вязки. Матвей Ильич всегда плохо разбирался в возрасте, но сейчас он был уверен, что ей не больше шестнадцати, хотя дать можно все двадцать пять. Волосы плохо покрашены, или специально — в линейку. В глаза было бы лучше не смотреть,

но Матвей Ильич уже заглянул. И моргнул первым. Он стоял на набережной, дул ветер, долговязый подросток хотел есть и теребил кисточку.

— Лучше что-нибудь другое, — сказал Матвей Ильич.

— А что?

— Море?

— А вы купите?

— За сколько?

— За двадцать.

— А портрет?

— Стоил бы пять.

— Хорошо, — вздохнул Матвей Ильич, — значит, море. Когда прийти за картиной?

— Завтра в такое же время подойдет? А вы точно будете?

— Как штык, — сказал Матвей Ильич. Покидая набережную, он увидел в небе над морем молнию, похожую на росчерк чьей-то подписи. Но ливень начался, когда Матвей Ильич был уже под козырьком первого корпуса.

2

Мама говорила: «Ты — такая же художница, как я — балерина». И Оля вдруг поняла, что это — название картины, которую она подарит маме на день рождения. По принципу «сказано — сделано». Оля начала писать маму в пачке, на пуантах, прямо поверх морского пейзажа, чувствуя прямо-таки вдохновение... Но тут погас свет. Летом электричество еще не отключали. Зимой сколько угодно, но сейчас вроде лето... Оля зажгла спичку, си-

гарету, потом опять спичку... Света не было. В доме напротив — тоже. В нескольких окнах уже тускло светились лучинки. Одна переползла в соседнее окно. Там погасла. Оля не могла вспомнить, где лежат свечи. Она пошла по направлению к кухне. Дойдя до входной двери, открыла ее, сделала шаг, вспомнила, что на ней ничего нет, вернулась, нашла на ощупь халат, набросила на себя и, на ходу завязывая поясок, вышла из квартиры. Она никуда не хотела идти и не шла, но улица плыла мимо, освещенная снизу фарами машин. На лица прохожих света не хватало, они были как будто закрыты опущенными забралами. Вскоре за Олей увязалась белая спортивная «мазда». Вообще-то это — то, что нужно, — подумала она, — потому что денег нет, засада полная... Но почему-то не хочется. Не уверен — не обгоняй. Хотя он, наоборот, не обгоняет, потому что уверен. Машина плыла рядом. С открытой дверцей. Оля зашла в парк — прямо в заросли, раздвигая ветки руками, пошла по тропинке, которая вела к морю. Не меньше трех баллов, — подумала она, — но странное дело — он собирается плыть. «Ночная прогулка с дискотекой!»! Мать твою. В такую волну? Катер качался у причала и в пику все еще темному городу мигал огнями, как новогодняя елка. У Оли никто не спросил билет, молча подхватили под руки и помогли перескочить на борт. Она стрельнула у кого-то сигаретку, уселась на скамеечку. Катер отчалил и стал разворачиваться. Палубу захлестнула волна. Грянула музыка. Люди пытались танцевать, но вместо этого перемещались по палубе от поручня к поручню короткими перебежками. Оля встала на ноги, и ноги ее понесли. Она влетела в открытую дверь, сбежала по сту-

пенькам, попала в сеть, висевшую во втором дверном проеме, раздвинула ее и оказалась в баре. Стены тоже были обклеены сетью. Пока еще никто кроме нее не попал в эту лузу. Над стойкой появилась голова с раскосыми глазами. Как в кукольном театре. Оля попросила голову налить ей стакан сока.

— А платить будет кто, папа или мама? — спросил бармен.

— С чего вы взяли, что у меня нет денёг?

— А что, есть?

— У меня на самом деле нет...

— У тебя нет карманов.

Оля провела рукой по халатику и согласилась:

— Действительно. Ну, я пойду.

На стойке появился стакан с желтоватой жидкостью. Оля выпила залпом и покачнулась.

— Ничего себе, — сказала она.

— А ты что — думала, соки из меня пить будешь? — Бармен был уже по эту сторону стойки и нагло обнимал Олю за талию.

— Давай потанцуем, — сказал он.

— Ты забыл о своей работе, — прошептала она.

— Ничего я не забыл. У нас сегодня все свои. Как-компания. Меня Шакир зовут, а тебя?

— Оля. Что ты мне налил?

— Нектар такой.

— Послушай, зачем ты это сделал? Натощак, у меня пол из-под ног уходит...

— Сейчас накормим. Эйч! Мы же в море, нас всех качает, не тебя одну, ну, очнись!

К ним подошел мужчина в зеленом спортивном костюме и сказал:

— Ей надо на воздух.

— Дурочку валяет, — сказал Шакир, поддерживая Олю под мышки, — а мне делать больше нечего, как с ней возиться!

— А что тебе еще делать? Все тихо, все хорошо. Давай я ее на палубу вынесу.

— Да ее там море сглотнет.

— Я ее привяжу.

— Не надо, это ж не собака.

— Она там очнется, порыгает.

— Да ей и рыгать-то нечем, — сказал Шакир и подтащил Олю к столику. Он посадил ее на стул, голову поместил на скатерть, рядом — руки и вернулся за стойку. Там его ждал незнакомый посетитель. Старый хрен, — подумал Шакир, — ты-то куда лезешь...

— Сто грамм коньяку и шоколадку. Вы не знаете, в котором часу мы вернемся?

— К утру, — сказал Шакир, — если все будет нормально.

— А что может быть? Шторм вроде бы проходит.

— Землетрясение, цунами, ошибка расчета подводной лодки...

— Да, конечно, — улыбнулся посетитель, — но почему утром, ведь написано было: «трехчасовая».

— Где написано?

— На будочке.

— Вы что-то не так поняли. Сегодня — необычная программа. Были в детстве в пионерлагере? Помните конец смены? Взвейтесь кострами, синие ночи? Кстати, вы, случайно, не папа вон той пионерки?

— Ну, разве что случайно.

— Не хотите взять ее под опеку? Ну не шурьтесь вы так.

— Это вы шуритесь.

— Так я ж всегда такой, ладно, вы меня не поняли, я не торгую детским сексом, мне никаких денег не надо, вот ваша сдача.

Кто зазвал эту толпу? — недоумевал Шакир. — Специально? Это хорошо — при таком столпотворении... Хотя это — не помеха.

— Коньяка больше нет! — объявил он.

— А сока не найдется стаканчик?

Шакир налил стакан сока.

— Передайте ей, что на этот раз без дураков, — сказал он.

Сок на самом деле был соком, но попал не в то горло. Оля закашлялась. Потом хрипло спросила:

— Ты — факир?

— Почему ты так подумала?

— Я просто спросила. Нет, ты — не факир.

— Это даже как-то обидно.

— Не обижайтесь. Вы — не тот факир.

— А где тот?

— Да вон он, за стойкой. Или как его? Хакир?

— Харакир, — сказал мужчина. Оля хмыкнула.

— Я пьяная, — предупредила она.

— А я трезв мертвецки, — сказал он, — а коньяка больше нет.

— Это не вы сегодня подходили на набережной? Картину заказывали?

— А что, уже готово?

— Конечно. Всегда готово.

— Я вам не помешаю? — спросил Шакир, присаживаясь за их столик. — Вы не хотите в карты сыграть?

— Я — нет, — сказала Оля.

— Ну, тогда мы с товарищем и с «болванчиком», да? Без денег, просто так. Как вас звать?

— Матвей Ильич. Я тоже не хочу играть.

— Жаль. Мне все надоели, а вы мне чем-то оба нравитесь. Оля, прости за огненную воду.

— Вы не знаете, что это так хрустит? — спросила Оля.

— Действительно — что это так хрустит? — спохватился Шакир. Хруст прекратился, и одновременно из-за соседнего столика поднялся человек. Он подошел к стойке и сказал:

— Я хочу расплатиться за стакан.

— Стакан чего? — переспросила женщина, стоявшая на месте Шакира. — Я не поняла.

— Стакан ничего. Просто стакан.

— Мы стаканы не продаем.

— Я же не знал.

— Так знайте.

— Поздно.

— Это еще почему?

— Я уже полстакана съел.

— Шакир, подойди! — закричала женщина.

— В чем дело? — спросил Шакир, подходя к стойке.

— Вот он — стакан съел.

Последним словом женщина как будто подавилась.

— Я все понял, — сказал Шакир, — заплатите сколько не жалко. Ответственный вы наш.

— Он не ваш! — закричал человек, который сидел за столиком стеклоеда.

— Брат, чего это он? — спросил Шакир.

— Он тебе не брат! — закричал тот же человек. Стеклоед молчал.

— Вообще-то все люди — братья, — тихо сказала Оля.

— Не все! Ты не вмешивайся!

Оля, сощурившись, попыталась разглядеть источник бреда. Человечек был зол. Погладить его? Руку откусит. Стаканы грызет. Нет, это не он, это вон тот, но они какие-то одинаковые. Оля увидела на столе объедок стакана и расхохоталась.

— Да я не над вами, — сказала она, встретившись с человечком глазами.

— Вы — козлы, — сказал человечек, — вы не понимаете, кто это. Но лучше вам и не знать.

— Чего? Да я сама могу стакан съесть, — сказала Оля, — что, не веришь?

Она схватила стакан, но Матвей Ильич выдернул его у нее из рук.

— Я могу! — закричала Оля.

— Никто не сомневается, — сказал Матвей Ильич.

— Убери руку!

— Нет.

— Тогда уведи меня отсюда.

На лестнице она упала, Матвей Ильич помог ей подняться и больше не выпускал ее из рук. На палубе он велел ей держаться за поручень, набросил ей на плечи свою куртку и обнял. Вспомнил вчерашний день, автобус. Поймал? Глупость.

— Стрельнешь мне сигарету? — спросила она.

— Я боюсь тебя оставлять, — сказал он, — к тому же они сами стреляют — посмотри. Трассирующими.

Мимо пролетали красные огоньки, отрывавшиеся от чьих-то сигарет.

— Я бы съела этот чертов стакан, — сказала Оля.

— Не сомневаюсь, — повторил Матвей Ильич.

Открытое море. Ночь. Тихие всплески, потом голоса.

Оля: Шакир пошутил.

Матвей Ильич: Мы уже далеко отплыли, точнее, они далеко отплыли.

Оля: Мы бы все равно слышали.

Матвей Ильич: Я не поверил, но когда ты прыгнула — что мне оставалось делать?

Оля: Я была в Феодосии месяц назад. Сидела в кафе, и вдруг туда вошли люди и сказали, чтобы все немедленно вышли, потому что через пять минут кафе взорвется. Я вышла. Кафе взорвалось.

Матвей Ильич: Никто не остался?

Оля: Некоторые хотели, но их вытолкнули.

Матвей Ильич: Кажется, в этот раз все тихо.

Оля: Даже слишком. Катера вообще не видно, послушай, он исчез!

Матвей Ильич: Точно. Ни зги. Какая-то черная дыра. Больше не оглядываемся.

Оля: Доплывем?

Матвей Ильич: Вне всяких сомнений. Тут нечего плыть. Ты отдохнула?

Оля: Давай еще полежим. Звезды больше, чем огни берега. Значит, они ближе?

Матвей Ильич: Холодно.

Оля: Поплыли к звездам.

Матвей Ильич: Звезды — невод, рыбы — мы...

Оля: Ты хлебнул? А может, мы уже приплыли, смотри — звезды плавают возле нас.

Она зачерпнула горсть и показала Матвею.

Матвей Ильич: Они холодные. Теперь поплыли к огням.

Он нырнул и подплыл снизу. Схватил ее за талию, толкнулся ногами от толщи воды, потянул за собой.

Оля: Еще чуть-чуть полежим.

Матвей Ильич: Ты замерзнешь.

Оля: Конечно, ты в плавках, так нечестно. Надо бы и мне себе что-нибудь сшить, но нечем.

Матвей Ильич: Рыбой-иглой?

Оля: Где ты их видел? Они уже в Красной книге.

Матвей Ильич: И мы там будем, если не поплывем.

Оля: Плыдем. Выбрось плавки из солидарности. А то будем идти по городу — ты как приличный человек, а я как последняя...

Матвей Ильич: Уже выбросил.

Оля: Главное — доплыть. А там фиги дадут нам и пищу, и одежду.

Матвей Ильич: Фиги?

Оля: Они же — инжир.

Матвей Ильич: Ночь полна открытий.

Оля: Он растет здесь повсюду, и его как-то странно не обрывают.

Матвей Ильич: Я как раз подумал, что мне уже не фиг там ловить, на этой суше. И тут — инжир. Плыву.

Оля: Слушай, а как же я?

Матвей Ильич: Ты любишь ближнего. На суше ты исчезнешь. Я был твой временный попутчик, а ты — глоток воды...

Оля: Ты жив? Ау!

Матвей Ильич: Морской... Египетские ночи, во-
истину. Хлебнул немного, ничего страшного.

Оля: Полежи.

Матвей Ильич: А потом молча до самого берега.

Берега они не видели, даже когда коснулись но-
гами дна. Берег был совершенно черный, а огни
были по-прежнему далеко — на горе. Они долго ле-
жали на гальке, потом встали, не разнимая объ-
ятий, и пошли против серого предрассветного ветра.

Матвей Ильич: Слушай, у меня как бы это...
Гениталии... Ты прости, что я тебе говорю, но они
горят прямо. Как будто их отхлестали крапивой.

Оля: Это — медуза. Ничего страшного. Это даже
полезно.

Матвей Ильич: Я устал от процедур. Я же тут был
в санатории.

Оля: Был? Ты уезжаешь?

Матвей Ильич: Нет, я сбежал — ты что, не ви-
дишь? Пойдем в тот домик — кажется, дверь
открыта.

Оля: Это — домик спасателей. Зачем они нам те-
перь?

Матвей Ильич: Согреться.

Оля: Света нет. Голый бетон. Пойдем, здесь еще
холоднее.

Матвей Ильич: А вот лодка.

Оля: Эй, ты, человек за бортом, мы на суше.

Матвей Ильич: Но куда мы пойдем?

Оля: Ко мне.

Матвей Ильич: Там ведь твоя мама.

Оля: Я скажу ей, что нашла папу. Давай посчитаем: мог ты здесь быть шестнадцать лет назад?

Матвей Ильич: Кажется, нет.

Оля: Но мы скажем. А она все равно его не помнит, так что ты сойдешь.

Матвей Ильич: Это уже было у Фриша. «Ното Faber».

Оля: А чем кончилось?

Матвей Ильич: Ничем. Ах, да, ее укусила змея, и она умерла.

Оля: Мама?

Матвей Ильич: Да нет, дочка.

Оля: Но у нас все иначе — медуза укусила фатера.

Матвей Ильич: Фабера. Болит. Она ядовитая?

Оля: Если она была с синими кругами.

Матвей Ильич: Этого мы как раз и не знаем. Может быть, это вообще была не медуза.

Оля (поет): С неба звездочка упала прямо милому в штаны...

Матвей Ильич: Давай лучше попробуем проникнуть в санаторий.

Оля: Ты, что, не заметил, что это другой город?

Матвей Ильич: Я вообще пока города не заметил.

Оля: Мы не дойдем.

Матвей Ильич: Прощай, санаторий.

Оля: Знаешь, я лежала как-то в психушке...

Матвей Ильич: На самом деле?

Оля: Да, да, да. И там было два отделения: санаторное и «наблюдаемое». И я тебе хотела сказать, что в санаторном намного лучше. А все на самом деле — психушка. Так что ты подумай — стоит ли тебе бежать.

Матвей Ильич: А как ты туда попала?

Оля: Суицид. Хотя на самом деле просто переела таблеток. Я тогда на них сидела. Вообще, я не думаю, что ты меня правильно представляешь. Я стала пай-девочкой только год назад. А до этого было много всякого. В тринадцать лет я сбежала от мамы к одному человеку. Он как раз вышел, отсидев лет десять. Он меня бил. Хотя и кормил. Немножко. Так что маму уже ничем не удивишь. А тебя? Я тебя удивляю?

Матвей Ильич: Мне кажется, ты сочиняешь.

Оля: Просто у меня был потом совсем другой друг. Он читал книжки, даже писал, и читал мне вслух. Нет, я ничего не сочиняю. А ты что думаешь, нормальный человек прыгнул бы вот так — за борт? Не надо набрасывать на меня сеть.

Матвей Ильич: Это — не сеть, это парашют. Или палатка, сшитая из парашюта, — не поймешь.

Оля: Я мечтаю прыгнуть с парашютом. Но не берут, сволочи. Мои друзья. Омоновцы. Сами прыгают, а меня не берут.

Матвей Ильич: Слушай, у тебя всесторонние связи.

Оля: А ты как думал. Смотри, я поймала черную кошку в темной комнате.

Матвей Ильич: Брось ее.

Оля: Какой ты умный.

Матвей Ильич: Я сонный. Я засыпаю. Этот заплыв меня ухандоухал.

Оля: Погладь ее.

Матвей Ильич: Ее же нет.

Оля: Кого же я глажу?

Матвей Ильич: Себя.

Оля: Но ты же меня не гладишь и не можешь знать, есть я тут или нет. Да, да, так хорошо... Да... Ты не хочешь меня попробовать?

Матвей Ильич: После моря ты и здесь такая же, как там, ты везде одинаковая на вкус.

Оля: А у тебя хвост вырос уже на суше, и он совсем не соленый.

Матвей Ильич: Зато у тебя... Все шутки соленые... Мы с тобой сошли с ума... Спасибо...

Оля: Вам спасибо. Я вас проглотила, миллионы вас во мне теперь, и тьмы, и тьмы, и тьмы...

Матвей Ильич: И все с раскосыми и жадными.

Оля: Как у Шакира. Тебе понравилось? Ты знаешь, как это называется?

Матвей Ильич: Еще бы. Это первый раз со мной случилось в шестьдесят девятом году.

Оля (смеясь): Смешно.

Матвей Ильич: Или это дежа вю? Или мы снова превращались во что-то другое? В змею, глотающую свой хвост? Совместный сдвиг по фазе. Амфора, амфибрахий, уроборос, синхрофазотрон...

Оля: Чего-чего?

Матвей Ильич: Смотри, причал заползает в море, семена ножками, изгибаясь...

Оля: Ты что?

Матвей Ильич: По-моему, я сплю.

Оля: Не спи, я хочу, чтобы ты был со мной... Чтобы ты родился. Я не хочу быть здесь одна, я все время здесь одна...

Матвей Ильич: Только что я был твоим отцом, и вот уже ты хочешь стать моей матерью... Мы так совсем запутаемся...

Оля: Не спи сейчас, не спи.

Матвей Ильич: Если я еще минуту... я не знаю, что тогда...

Оля: Ты спишь?

Матвей Ильич: Всё, всё...

Оля подогнула под себя колени, убрала с лица пряди волос. За дверью светало, море было бесшумно. Она поднялась и сказала: «Ну что с тобой делать?» Пнула ногой в бок. На самом деле спит. Или умер? А кто его знает. Пусть спасатели разбираются. Оля набросила на Матвея Ильича брезент, вышла из домика и побрела по пляжу. Куда, зачем, почему? Они с подругой называли такие моменты жизни «движением». На этот раз движение произошло без травы и без «винта», просто ночь такая, с рельсов сошла девочка, мы толкали паровоз без воды и без колес... Она не сразу заметила, что галька под ногами превратилась в асфальт.

Машина плавно огибала желтые холмы. Оля сидела на заднем сиденье. Совершенно голая. На передних сиденьях были мужчина и женщина средних лет, видимо, муж и жена.

— А куда вы едете? — спросила Оля.

— На базар, — ответила женщина, — тряпки продавать.

На ручках под крышей висели плечики с женскими платьями. Оля перебрала их и сказала:

— Я тоже хочу купить.

Ей ничего не ответили.

— Ладно, только не говорите, что у меня нет карманов, — сказала Оля, — это я сегодня уже слышала.

Женщина глянула на нее в зеркальце. Склонила голову к уху мужчины, что-то ему прошептала. Потом он — ей. Посоветавшись, они минуту ехали молча, а потом мужчина громко сказал:

— Мы решили тебе подарить.

— На счастье, — объяснила женщина, — чтобы день был удачным, чтобы мы все продали.

— Спасибо, — сказала Оля, — я тогда прямо сейчас и надену. Вы не против?

— Я — нет, — сказала женщина, — но надо у мужа спросить... Ты не против, чтобы прямо сейчас?

— Нет. Мы и так из-за нее несколько раз чуть в пропасть не заехали.

— В пропасть летят, а не заезжают, — усмеялась женщина.

Оля надела платье через голову, приподнялась и расправила его на бедрах.

— Замечательно. Теперь вы особо... — Женщина так и не закончила фразу.

— Я и была особой, — сказала Оля.

— Нет, детка, ты была особью, — сказал мужчина, — а теперь ты знаешь кто? Ты — мисс Вселенная.

Ну конечно. Только этого не надо говорить. Особенно во время движения. Вообще, разговаривать с водителем запрещается. А кто водитель? А кто его знает. Оля почти воочию увидела, как между ней и водителем вырастает стекло. Как в каком-то старом черно-белом фильме. Она сняла с себя платье и повесила его обратно.

— Что такое? — строго спросила женщина.

— Мне не нравится, — сказала Оля, — можно другое?

— Не наглей! — сказал мужчина.

— Спокойно, — сказала женщина, — лапочка, ты же его примерила на голое тело.

— Я чистая, — сказала Оля, — я всю ночь в море плавала.

— Ладно, бери другое, — сказал мужчина, — только скорее, мы уже подъезжаем.

За стеклом теперь было море. Было рано, берег был почти пуст. Из-за песчаной насыпи вдруг пока-

зались фигурки, покрытые серой грязью. Они стояли с распростертыми руками, подставляя себя на обжиг солнцу. Они на самом деле из глины, — думала Оля, — они все...

— Почему ты не надеваешь? — спросил мужчина.

— Мне ни одно не нравится, — сказала Оля.

— Тогда выходи, — сказал он, останавливая машину, — по городу я так не поеду.

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

Сочи был тот же, что десять лет назад. И тоска была та же. Только теперь она сидела на мне еще лучше. Почему-то я решил, что вырос из нее, но — то ли раньше она была мне велика, то ли она вообще безразмерна. К тому же шел дождь. Я пил его из кофейной чашечки, пока там, где задержался мой взгляд, не проступила надпись «Парикмахерская». Я зашел в нее и хотел сразу уйти, потому что там никого не было, — как вдруг откуда-то появилась девушка в халатике, чистенькая белая мышка с торчащим хвостиком. Она указала мне на одно из трех кресел. Когда я в него сел, она спросила:

— Как вас стричь?

— Я хотел бы побриться, — сказал я.

Мои слова она, видимо, расценила не как просьбу, а как признание в тайной несбыточной мечте. Она стояла и смотрела в окно. Потом обернулась ко мне и сказала:

— Я практикантка.

— Ну и что? — спросил я, силясь понять, что напоминает мне ее голос, ее манера смотреть на дождь. Она снова посмотрела в окно и спокойно сказала:

— Я могу вас порезать.

В первый момент я испугался. Я подумал, что она действительно способна на такое, и не случайно, а специально, то есть если ей вдруг захочется. Но в следующий миг я улыбнулся шутке своего воображения. «Странно, — подумал я, —

что оно еще не заменило «порезать» на «зарезать». Смешно.

— Ты обязана предупреждать об этом?

— Нет.

— Ну так не выдавай производственных секретов.

Она размахнулась и накрыла меня простыней, засунула мне за шиворот полотенце и стала намыливать щеки, сильно размахивая кисточкой. Когда она занесла надо мной бритву, я спросил:

— А на ком вы практикуетесь? У вас что, есть подопытные? — Видимо, на всякий случай хотелось мне знать — во имя чего.

— Нет, мы учимся на воздушных шариках, — сказала она.

— Как это?

— Очень просто. Надуваешь шарик, намыливаешь его, а потом бритвой снимаешь пену. Если лопается, мыло брызгает в глаза. Так и учимся.

— Да, жестоко — мыло в глаза.

— Но все же лучше, чем если лопается клиент, правда?

— Так я — клиент или шарик?

— Если вы будете разговаривать, я вас точно порежу, — сказала она, и я умолк.

Она потихоньку снимала пену бритвой и пальчиком, а я закрыл глаза и стал придумывать тему для беседы. Хотелось с ней разговориться и познакомиться, но, как назло, ничего не шло на ум.

— Ой! — воскликнула она. — Я же говорила...

Я ничего не почувствовал; но на белой щеке проступила красная черта. Я сидел, замороженно глядя на щеку. Когда я перевел взгляд на девушку, я увидел, что она смотрит на дождь. «Это — болезнь», — подумал я. Потом она все же обернулась ко мне.

Видимо, решив, что в кровопускании необходимо соблюдать меру, взяла со стола перекись, вату. Кровь была остановлена. Девушка предложила застирать окровавленную рубашку.

Я снял рубашку, отдал ей, подошел к другой раковине. Смыл со щек пену и кровь. Под подбородком на шее осталась щетина, но я подумал, что на сегодня хватит экспериментов. Девушка выжимала рубашку. Я смотрел на нее в зеркало. Она подняла глаза, мы смотрели друг на друга. Посредством зеркала. Я сказал:

— Можно тебя куда-нибудь пригласить? Куда хочешь — я плохо знаю этот город.

— Город сейчас забит людьми. Они остались без солнца и не знают, что делать, рыскают по магазинам. Сейчас лучше всего на море. Там никого нет. Пойдем, если хочешь.

— Прямо сейчас? Ты можешь уйти?

— Подожди, я переоденусь.

Пляж действительно был совершенно пустой и от этого казался диковатым, несмотря на всю свою благоустроенность. Дождь висел в воздухе, бесплотный, невидимый, — робкая такая щекотка, от которой вздрагиваешь, но не смеешься. Под ногами постукивали камни, где-то глухо грянуло, почти неслышно — небо, похожее на бетонную плиту, не пропускало звуки. И в этом каменном мешке жило море. Оно немножко волновалось, напоминая мне мою спутницу — намыливая серую щеку пляжа, и тут же смывая пену, и снова намыливая. Возле него лежали копны черных водорослей — волос. При порывах ветра чувствовался их запах — мы сидели в первом ряду топчанов. Она смотрит, все время смотрит на себя — в окно, на море. Но море — самое интересное, потому что

внутри нее — только море, и не то, на которое она смотрит, а настоящее, без берегов. Она пока не видит его, но чувствует все отчетливее и поэтому смотрит на эту синюю модель... Я думал об этом вслух, глядя на море, и она вдруг призналась:

— Да, да, все именно так.

Я обрадовался, что наконец-то мне есть с кем об этом поговорить. Я что-то хотел ей сказать, но вдруг почувствовал, что сказать больше нечего, что слова становятся своими неумелыми ножками на голый лед и падают. Все разговоры — приближение к этому, а у нас он уже произошел. Я спросил просто чтобы поддержать разговор:

— Почему ты выбрала эту специальность?

— Не знаю... А какая разница?

Она посмотрела на меня отчужденно. Она поняла, что ошиблась, выдав себя незнакомому человеку, случайно угадавшему, что там у нее внутри, и не придавшему этому значения, как будто это пустяк по сравнению с такими вещами, как выбор профессии. Я не знал, как теперь сказать ей, что... Что? Что я мог сказать? И я промолчал. «Она должна чувствовать во мне симптомы своей болезни, и слова тут ни при чем», — подумал я. Я увидел старика, который медленно брел вдоль моря. Он остановился, снял с плеча маленький черный мешочек, бросил туда подобранную под ногами бутылку и пошел дальше. Он был еще далеко, и казалось, что он идет на месте.

— У меня в сумке вино. Давай мы его выпьем и отдадим бутылку вон тому старику.

Она кивнула. Я достал портвейн и стал стягивать пластмассовую пробку ключом от моей квартиры. Пробка тужилась изо всех сил, и вдруг полетела. Из горла бутылки вырвался красный фонтан и за-

лил белые шорты и темные тонкие ноги. Она расхохоталась:

— Это — месть! Кровь за кровь!

Оставшееся вино мы выпили из горла. Я обнял ее за плечи, и мы ожидали старика, глядя на сыроватый холст, на котором было три полосы — две серые и синяя посередине. Старик уже шел к нам, изогнутый и иссохший, кажущийся по мере приближения все более бесплотным, он облетал на ходу, как одуванчик. Голова его тряслась, он то и дело перебрасывал мешок с одного плеча на другое. Подойдя к нам, взял бутылку и прошелестел, не двигая губами:

— Спасибо. Дай бог вам здоровья. — Пошел уже дальше, но вдруг обернулся. — Вы хорошие люди. Я могу взять вас с собой, когда соберу деньги.

— На что вы собираете? Куда возьмете?

Он удивленно посмотрел на меня и ответил:

— На самолет.

— И далеко полетим?

— На Мамайку. Полетите?

— Конечно! — Я сказал это весело и осекся.

— Я найду вас, — пообещал он нам, повернулся и двинулся дальше в свое никуда.

Я вспомнил про залитые шорты и сказал:

— Моя очередь стирать.

— Я сама. На себе.

— Ты не в купальнике?

— Ты удивительно догадливый! Ты такой всегда?

— Нет.

— Но для меня останешься навсегда. Пойдем в море.

— Ты замерзнешь, холодно сейчас в мокром. — Я периодически делал одно и то же резкое движе-

ние, пытаясь оторваться от мокрой рубашки. Это удавалось лишь на мгновение, ткань прилипла к телу снова и снова.

— Ничего, я здесь живу, совсем близко, не успею замерзнуть, идем!

Она побежала к морю, а меня что-то удерживало на суше, и я остался сидеть на топчане. Минут через пять я разделся и поплыл, но она была уже далеко. Потом я потерял ее из виду. Я долго искал ее среди волн. Пока не понял, что это бессмысленно. Странно, что я совсем не удивился ее исчезновению, я не задавался вопросами, куда она делась, выплыла на другой пляж, или утонула, или ее не было вовсе? К последнему я стал склоняться, когда шел на вокзал под яркими сочинскими огнями, по совершенно сухой плитке. Весь этот день с его дождем и бредом отошел куда-то в сторону, я уже не был уверен, что действительно видел в городе что-то помимо этих огней. Я сел на проходящий поезд и поехал в поселок, расположенный на окраине Большого Сочи. Вагон был пуст. Я снял рубашку, до сих пор хранившую влагу. Единственное, что осталось от этого дня. И я мгновенно уснул. Мне снился старик, собиравший бутылки. Он вел меня за руку вдоль моря. Его старческая ручонка поразительно крепко держала мою. Хотя я и не пытался вырваться.

Вмятина

Проснувшись в полуподвальном помещении (свет проникал сквозь окно, которое возвышалось над тротуаром сантиметров на тридцать), я почувствовал, что это место лучше всего сразу покинуть.

Там стояли еще две кровати. Они не были застелены, повсюду валялась одежда, владельцы которой пока что отсутствовали. Я даже не стал принимать душ, только сполоснул лицо водой из-под крана, оделся и вышел по скрипящим ступенькам на улицу.

Дойдя до перекрестка, я остановился, пошел назад и записал в блокнот номер дома и номер улицы. После чего снова пошел в том же направлении.

Куда я иду, я не знал.

Спросил у нескольких прохожих, иду ли я в сторону Манхэттена, но никто из них ни о чем таком не слышал.

Я подумал, что, возможно, плохо выгляжу, и они просто не хотят со мной говорить, но, взглянув на себя в витрину, понял, что с моим внешним видом все в порядке и, значит, дело в моем произношении. Я стал варьировать гласные в названии острова, а потом и согласные, и когда «Манхэттен» превратился то ли в «Манчестер», то ли в «Магадан», одна пожилая негритянка вдруг поняла меня и сказала, что я иду правильно.

Я перешел улицу, поднялся по лесенке, купил в окошке медный жетон, бросил его в щелочку и прошел сквозь что-то похожее на противотанковый еж.

Теперь мне снова нужно было уточнить направление, но второй раз название выговорилось у меня сразу, и я поехал туда, куда махнула чья-то рука в красной перчатке.

Примерно так я себе все это и представил, когда на почте мне вручили гостевое приглашение от человека, которого я не только ни о чем таком не просил, но вообще не знал.

Некто Энтони Блейк звал меня к себе в гости в Америку. Я подумал, что это или ошибка, или что-то совсем не связанное с географией. Скажем, другая Америка, открытая не Колумбом, а Свидригайловым.

Через несколько дней этот морок был на какое-то время рассеян звонком Светы. Она объяснила, что Энтони Блейк прислал мне вызов по ее просьбе. Сама она не могла этого сделать, потому что у нее еще не было никакого статуса, даже статуса беглянки.

В посольстве Соединенных Штатов мне задали на удивление мало вопросов и поставили визу, хотя стоявший впереди меня солидный человек получил такую справку:

Ваши связи с Украиной не настолько прочны, чтобы можно было надеяться на то, что ваше пребывание в США будет носить только временный характер.

В очереди говорили, что прочными связями являются дети, оставляемые на родине, и какое-нибудь выгодное социальное положение. Некоторые

приписывали себе чужих детей и несуществующие фирмы. У меня же в кармане был только один дополнительный документ, всю сомнительность которого я осознал до конца на подходе к окошку. И я не стал его показывать. Там было написано, что я являюсь членом творческого объединения художников с ограниченной ответственностью «Секстант» и направляюсь в город Нью-Йорк с целью устройства выставки «Азбучные истины». Группа «Секстант» гарантирует своевременное возвращение меня на родину. После этого утверждения шли подписи шести членов группы и печать общества.

Сидя в вагоне электрички, которая везла меня в Манхэттен, я подумал, что делать мне нечего, так почему бы и впрямь не заняться устройством выставки, во всяком случае, притвориться, это хорошее прикрытие.

Прикрытие чего? Что мне скрывать? Мне нечего было скрывать кроме того, что мне нечего делать в этом городе, что я попал в него случайно.

В аэропорту Света встречала меня не одна.

— Это Тони, — сказала она, представляя мне вполне бесцветного типа в очках-хамелеонах, — я соврала ему, что ты не знаешь язык. Притворись. Потом скажем, что ты немного выучил, но стеснялся. У меня все изменилось — я выхожу за него замуж. Поэтому ты будешь жить один, точнее, с двумя жильцами...

— Но зачем я тогда прилетел? Ты что, не могла мне позвонить?

— Только не говори, что ты летел из-за меня. А если даже это так, я тем более правильно сделала, потому что, узнав, ты бы так и остался в болоте. А я хотела тебя оттуда вытянуть. Не сердись.

— Ты знаешь, что я могу лететь назад только через месяц? Это называется «апексный билет». Или надо доплачивать сто пятьдесят долларов, а у меня с собой всего сто пятьдесят. Поэтому я улечу прямо сейчас.

— Не вздумай. Я тебе займу, если ты пообещаешь, что не будешь переносить вылет. Побудь здесь месяц, попробуй, если тебе после этого не понравится, ты улетишь.

— Что я должен пробовать?

— Я хочу, чтобы Тони тебя устроил. Чтобы ты закрепился. Только, пожалуйста, веди себя благо-разумно. Я сказала, что ты муж моей подруги и больше ничего.

— Дорогая, стоило этому малому выйти из самолета, и ты меня забыла. Я так и думал, — вдруг сказал Тони жалобным голосом, после чего Света рванулась к нему и стала целовать, стоя на цыпочках, при этом она делала какие-то жесты рукой, вероятно, мне, но что они означали, понять было не-просто. Что я тоже должен облобызать Тони? Я взялся за чемоданы, повернулся, но Света тут же оказалась передо мной.

— Неужели ты хочешь поломать мою жизнь? Я от тебя такого не ожидала. Если ты обиделся, не будешь со мной встречаться, но пока мы с То-ни...

— А если я не обиделся?

— Ну наконец-то! Дошло? Все, пошли к маши-не.

Таким образом, меня попросту купили каким-то смутным обещанием.

Они отвезли меня в подвал, который называют «студией». Там стояли три кровати, моя и двух не-возвращенцев, работающих почти круглые сутки.

Если вычесть сон, получалось, что моей новой жизни не было еще и трех часов. Я был новорожденным. Смотрел по сторонам. Кричать мне пока не хотелось. На стене вагона висел плакатик с рекламой какого-то баллончика, то ли со слезоточивым газом, то ли с антиастматическим препаратом — трудно было понять, потому что неизвестно было, что произошло раньше — лицо приняло такое выражение или чья-то рука нажала на пульверизатор.

Поезд выскочил из тоннеля на свет, я увидел небо, воду, перекрытия соседнего моста. Показались дома, от изображений которых давно уже стало невозможно избавиться ни в одном из полушарий.

Поезд снова нырнул под землю. Сверху теперь должен был быть Манхэттен. Я вышел на первой же станции — Грэнд-стрит.

Улица была заставлена лотками со снедью. Позавтракав двумя апельсинами, я пошел по рыхлому снежку, такому же, как за день до этого, в Москве. Серый цвет преобладал, небо тоже было вылеплено из серого снега, кроме того, по сторонам были зеркала, в общем, мир, в котором я очутился, был серым. Воздух был сырой. В нем были какие-то машинные запахи, но не выхлопных газов, а чего-то другого, может быть, смазки, я даже не сразу заметил, что вокруг бесшумно снуют серые машины.

Я не понял вопроса, с которым ко мне обратился негр в длинном пальто, и сказал, что сам ничего не знаю, что я первый день в Нью-Йорке. Негр повторил вопрос, и я понял, что он предлагает мне травку. Я сказал, что она мне не нужна. «А что же тебе тогда нужно в этой жизни?» — спросил он. Я сказал, что мне нужно найти галерею. «Какую га-

лерею?» — поинтересовался он. «Я не знаю, — сказал я, — какую-нибудь. Я хочу устроить выставку. Где здесь район галерей?» — «Это Сохо, — понял негр, — пойдем, я покажу тебе». Я пошел рядом с ним, отвечая на вполне общие вопросы: круглый ли год у нас лежит снег? Вскоре он остановился и, указав рукой на вздымавшиеся возле фасадов транспаранты, сказал, что это и есть галереи. «Не пропади», — сказал он и пошел назад.

Я снова посмотрел на себя в витрину, чтобы понять, почему, собственно, он решил, что я могу пропасть. В самом деле, вид у меня был теперь немного потерянный, к тому же было такое чувство, что он впихнул мне свой пакетик, и мы по дороге уже пыхнули. Нет, нет, я помнил, что ничего этого не было.

Я толкнул дверь и вошел в первую попавшуюся галерею.

Увидев картины, висевшие там, я понял, что у этой галереи не то направление.

Все же я решил показать слайды девушке, сидевшей за конторкой.

Она мужественно сопротивлялась, повторяя, что ничего в этом не понимает и что мне надо обратиться в другое место, адрес которого она напишет, если я не буду заставлять ее смотреть на свет сквозь кусочки пленки.

На другой стороне улицы был бар, в который я зашел в надежде, что там можно будет посидеть, заказав только кофе. Это так и было, но я не удержался и попросил принести еще немного коньяку. Чтобы отметить свой перелет, а заодно разогнать мрачные мысли, которые перелетели вместе со мной.

Коньяк не помог, потому что его было слишком мало, а если бы я выпил достаточно, у меня и в са-

мом деле не осталось бы денег на то, чтобы передвинуть рейс, скажем, на завтра.

Мысль о том, что завтра я полечу обратно, подействовала лучше коньяка и не хуже травы, во всяком случае, той, что я покупал в другом полушарии.

Я подошел к телефону-автомату и позвонил в компанию «Дельта», чтобы сообщить им о своем решении. Они не возражали, и вопрос был, таким образом, решен.

Я был уверен, что ночью не замерзну (в подвал я решил не возвращаться, забыв в порыве вдохновения, что там остался мой багаж) — посижу где-нибудь в кафе или в холле гостиницы. Или на вокзале. В любом случае, неплохо было бы узнать, где находится вокзал.

Во время поисков вокзала я случайно оказался на Таймс-сквер.

Не совсем случайно, в том смысле что очередной прохожий в своем описании моего пути к вокзалу упомянул эту площадь, и я сказал, что мне, прежде чем уехать, нужно туда зайти, чем избавил его от описания дальнейшего пути — от Таймс-сквер до вокзала.

Черт его знает, зачем мне это было нужно, наверно, я где-то читал, что эта площадь — центр Нью-Йорка и вообще Америки.

В центре Америки оказалась гигантская банка кока-колы, из которой медленно поднималась толстая, как бревно, соломинка.

Соломинка была такого же цвета, как банка, — красного.

Дойдя до невидимого предела, она поползла вниз.

Статую Свободы сменила статуя Вечного Кайфа.

Когда я проснулся, в комнате горел свет. Я встал и, осмотрев помещение, нашел в нем тех самых жильцов, о существовании которых предупреждала меня Света. Один из них спал за импровизированной ширмой, оттуда торчала его нога, а другой — на расстоянии двух шагов от моей кровати, но при этом он существенно над ней возвышался, потому что положил на свою три дополнительных матраса. Потолок был низкий, мой сосед лежал прямо под лампой. Я не мог понять, как он может спать под таким светом. Так лежат в операционной. При этом он был одет и обут. Я чуть было не поддался инстинктивному порыву — разбудить его, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.

Второй человек спал полусидя, прижимая головой подушку к стене. Над ним висели цветные плакаты с девушками в бикини. На тумбочке стоял очень старый телевизор. Возле газовой плиты я видел еще один такой же. Ванны не было, только душ. Там тоже было изображение девушки, уже без купальника, она подставляла себя струе воды, которая начиналась как раз под головкой реального душа. Последний раз до этого я видел панораму в краеведческом музее какого-то маленького городка. Какого, я не смог вспомнить. Я принял душ, вернулся в комнату, подошел к окну и, встав на стул, увидел тротуар, слегка схваченный ледяной коркой. Немного поодаль стояли горшки с цветами и машина, которую тяжело было себе представить всю по одним колесам.

— Ну, как тебе? — спросил голос у меня за спиной.

Я повернулся и увидел, что один из жильцов, тот, что лежал на соседней кровати и казался не

жильцом, уже не спит и смотрит на меня сквозь очки.

— Что ты имеешь в виду? — уточнил я, сходя со стула.

— Как тебе Америчка?

— Да в общем... Нормально. Я сегодня улетаю обратно.

— Значит, не понравилась.

— Все нормально, просто такие обстоятельства.

— Ты имеешь в виду Светлану?

— Ты ее знаешь?

— Я знаю Тони.

— Да нет, — сказал я, решив, что нужно быть с ним осторожным, — просто я улетаю, Света тут ни при чем. Я немного не рассчитал затраты.

— Можешь у нас бесплатно пока пожить. Место есть, мы целый день на стройке, иногда и ночь, так что ты нам не помешаешь.

— Спасибо, — сказал я, — большое спасибо.

— Что, все равно летишь?

— Ну да. — Разговаривая, я собрал вещи и теперь хотел откланяться, но жилец, которого звали Славой, уговорил меня съесть с ним яичницу и выпить кофе.

Он был изобретателем. Он придумал новый принцип двигателя внутреннего сгорания, а также: принципиально новый унитаз; вид спирали для чайника, в котором вода моментально вскипает; стаканы, которые не нужно наклонять, чтобы из них пить... В конце концов он признался: на что бы он ни обратил свое внимание, ему в голову сразу приходит новая идея.

Вторая часть его повествования была печальна. Он пытался протолкнуть «рацуху» в Самаре, потом в Москве, все это с одинаковым успехом. Тог-

да он, купив путевку, перелетел в Штаты, отстал от группы, поселился в подвале и стал стучаться в двери самых разных фирм, но здесь, так же как и там, никто ничего не хочет делать. Хотя, опасаясь, что его идеи воплотят другие, их у него берут и кладут их под сукно. Кормят обещаниями. Тем временем он вынужден зарабатывать на жизнь на стройке.

Я спросил его, зачем он тогда советует мне остаться. Чтобы занять место в их трудовой колонии?

— Я же не знаю, с какими идеями ты летел, — сказал Слава, — может быть, твои пройдут.

— Мои не пройдут, — сказал я, — безнадега. Поэтому я уезжаю. Кстати, а что Стас, как его идеи?

— А у него нет никаких идей. Вон его идеи, на стенках висят.

— И что, не проходят?

— У него есть идея жениться на богатой женщине. Пока он мало продвинулся в этом направлении. Теперь он собирается во Флориду — ловить каких-то редких змей и попугаев. Можешь принять участие.

— Ядовитые змеи?

— Да, но Стас говорит, что это самая безопасная работа из тех, что он перепробовал.

— Ну да, если сравнивать с богатыми женщинами. Впрочем, бедные могут быть еще опаснее.

— Правда, его напарник погиб, но, по словам Стаса, он в этот момент не работал, а бахвалился перед одной дамочкой — ловил змею голыми руками. Он был тезкой Стаса.

— Смотри, как все сходится, женщины, змеи — одно к одному.

— Нельзя так на это смотреть. Кстати, у меня есть идеи и на этот счет.

— Что, ты придумал, как усовершенствовать крематорий?

— Тебе не нужно будет никакого крематория. Если ты останешься, я обучу тебя своей системе, и ты никогда не будешь болеть. Только надо будет спать одетым.

— Это не так страшно.

— Тебе только кажется, что ты хочешь быть один. На самом деле это не так. Даже душа после смерти вскоре понимает, что ей нужны другие, и она тянется к ним. Здесь, в Америке, притяжение еще сильнее, потому что мы ближе к центру Земли. Вспомни, какой формы Земля — помятого портфеля, если смотреть на него в профиль. Так здесь как раз вмятина. Никто этого почему-то не осознает, а я сразу почувствовал, как только сошел с самолета: здесь другая сила тяжести.

— Но тогда здесь тянет сильнее не друг к другу, а к центру Земли? — зачем-то уточнил я.

— И друг к другу тоже. Я не могу тебе сразу все объяснить — ты не подготовлен. Подумай пока о том, что я сказал.

— На досуге, — пообещал я, — обязательно подумаю. А теперь я пойду.

В вагоне не было мест, и я сел на свой чемодан.

В окне мелькали стены, покрытые цветными граффити.

Или остаться и поехать во Флориду ловить какаду? — подумал я — но понял, что все это уже в прошлом.

Бродить по Манхэттену с чемоданом мне не хотелось. Я зашел в бар и спросил человека за стойкой, нельзя ли оставить у него чемодан часа на три—четыре. Он сказал: «Нет». Я попытался его убедить при помощи перетряхивания вещей, что

у меня там нет никакой бомбы. Это его немного развеселило, и, так как других посетителей не было, он вышел из-за стойки, чтобы рассмотреть мои вещи. Никакой крамолы в моем багаже он не нашел и согласился его оставить, взяв с меня за это три доллара. Сам не знаю почему, я поверил, что он мне отдаст потом чемодан, наверно, не мог представить, что его там что-то способно привлечь.

После этого я достал из кармана бумажку с адресом, который написала мне девушка из галереи, и пошел продолжать прерванное было выполнение своей миссии.

Дом, который я в конце концов нашел, со стороны выглядел заброшенным. И внутри тоже, но, поднявшись на второй этаж (это также было написано тщательной девушкой на бумажке), я понял, что в этих развалинах кто-то есть.

Я шел по длинному коридору мимо дверей, похожих на двери банковских сейфов или бомбоубежищ, это были бронированные двери, с довольно запутанной нумерацией.

На одной вместо номера висела приклеенная скотчем бумажка с неровными краями: «Джон Макмерфи, философ». Я постучался в эту дверь, но мне не открыли. Так как я успел заметить, что нумерация дверей не всегда последовательна, это вполне могла быть 102-я дверь, которую мне рекомендовали. А могла и не быть.

Я пошел по коридору дальше и за 101-й дверью снова увидел дверь без номера, но с таким же клочком бумаги. Там было написано «Лесли Гроув», никаких указаний по поводу рода занятий этой женщины (или мужчины) не было.

Я постучал в дверь, мне никто не открыл, но в коридоре внезапно появилась высокая девуш-

ка в черных шортах и пиджаке, она шла в мою сторону, прикрывая рукой рот, возможно, чтобы скрыть разбиравший ее смех.

Когда она поравнялась со мной, я спросил, не знает ли она, когда можно застать Лесли Гроув, она ответила, что понятия не имеет.

Я попробовал повернуть вентиль, торчавший из двери. Дверь открылась. Я заглянул внутрь, там никого не было.

В комнате царил хаос. Возможно, Лесли Гроув писала роман, огромный роман, и чтобы в нем не запутаться, она развесила по всем стенкам и даже по потолку листочки со сценами или с портретами героев — я читал, что так делают серьезные писатели.

Но Лесли Гроув писала не роман. Она, похоже, занималась жизнетворчеством.

На столе лежала красная тетрадь. Я вспомнил, что кто-то у Пола Остера писал на Манхэттене огромные буквы. Траектория каждой прогулки была буквой. Это выяснил следивший за персонажем детектив.*

«Скоро книг писать не будут, — сказал Пастернак Абраму Терцу, загадочно улыбнувшись, — точнее, их будут писать ногами».

Я бы с удовольствием выяснил, что написал подошвами на снегу, может быть, хотя бы это внесло в мою жизнь какую-то ясность.

Положив конверт со слайдами на стол, я написал на нем телефон Светы и ушел.

Чемодан мне отдали.

На конечной метро я пересел в специальный автобус, который подвозит к нужному терминалу.

* Речь идет о романе Пола Остера «Стеклянный город» (1985, рус. пер. — 1997).

На стенке этого автобуса была схема аэропорта, и, глядя на нее, я понял, что аэропорт представляет собой проекцию целого мира. Почти для каждой страны был отдельный терминал.

И в этом микромире жила Света — она стояла на моей остановке в черном кожаном костюме и подкрашивала алые губы. Эта Света была еще красивее, чем в моем микрокосме! И она ждала меня. Одна, без спутника жизни.

— Ты никуда не летишь, — сказала она, — Тони уже нашел для тебя место.

— У меня нет ни малейшего желания махать кувалдой, — сказал я, — и вообще что-нибудь делать.

— Правильно, — подхватила она, — ты и не будешь ничего делать. Послушай, твоя работа будет заключаться в том, чтобы помогать старикам спуститься в столовую, подняться обратно в номер, беседовать с ними, играть в карты — и это все. Их даже не надо купать — они прекрасно сами моются, ну, может, кому-нибудь спинку потереть. И тебе платят за это штуку в месяц, и тебе дают бесплатно комнату на двух человек, и тебя кормят. Так что тебе платят на самом деле намного больше. И потом, ну не будь ты идиотом, ну чем Тони отличается от моего мужа...

— Ничем, он и есть твой муж.

— Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, — сказала Света и постучала по деревянной скамейке, — от моего тамошнего мужа.

— Кстати, а он куда делся?

— Не пропустили на таможне. Да пошел он... Ну, ты согласен?

— Я не знаю, — сказал я, — мне нужно подумать. У меня есть еще час. Здесь нет, случайно, комнат отдыха?

— Ты имеешь в виду restroom? Туалет?

— Я имею в виду комнаты с койками, как у нас на вокзале, ты что, забыла Феодосию?

— Я все помню. Нет, я не думаю, что здесь есть такие комнаты, это в прошлом. Но здесь у тебя будет почти отдельная комната, и если у тебя не наступит пресыщение от какой-нибудь польской девицы, которых там, кстати, огромное количество...

— Ты же сказала, что там старухи. Я понял, что ты решила меня сдать в дом для престарелых.

— Это так. Но на каждую бабушку там по две девушки персонала. Понимаешь?

— Перспективное место. Можно работать до собственной старости и потом остаться, перейдя в разряд подопечных.

— Ну вот, я знала, чем тебя удастся завлечь. Стоило упомянуть про полек.

— Да нет, я о старости задумался, ты меня не поняла.

— Я поняла, что ты согласен. Мы едем сейчас к нам домой в Нью-Джерси, а работать и жить в этой гостинице ты начинаешь завтра.

3

Света оставила машину возле гаража. Никаких ворот, никакого забора вокруг дома не было. Островерхий дом Блейка показался мне копией спортивной гостиницы в лесопарке имени Горького, где Светин муж работал администратором. Я сказал ей об этом, и мне показалось, что она обиделась. В самом деле, когда мы вошли, мне уже не приходили в голову такие ассоциации, я и сам теперь видел, что это — другой дом, а Света вовсе не девочка Эл-

ли, чей домик просто перелетел по воздуху в Америку.

В холле нас встречал Энтони Блейк со своим шарпеем. Играя с собакой, Света задела висевшую посередине холла сложную конструкцию из палочек и веревочек, и раздался мелодичный перезвон. Собака побежала в другую комнату и принесла в зубах трость. Тони показал ей жестом на меня. Собака нехотя подошла и протянула палку. Я взялся за нее, пес мотнул головой, не выпуская трость из зубов, и трость разделилась надвое. При этом оголился спрятанный внутри штык. Тони, смеясь, сказал, что в его доме много сюрпризов, но все они не для меня, а для черных, которые один раз уже пытались его убить.

— Гражданская война вовсе не окончена, — серьезно заметил он, — надеюсь, ты это понимаешь.

— Как тебе Тони? — спросила меня Света за столом, когда Тони отлучился.

— Я ему завидую, — сказал я, — когда ты выходила, он сказал мне, что ты — смысл его жизни.

— Вряд ли я смогла бы заполнить смыслом твою жизнь, так что не завидуй.

— Нет, ты не поняла — как раз поэтому я ему и завидую.

— Ты помнишь, как ты мне сделал предложение?

— Не помню.

— Когда я на следующий день тебе об этом напомнила, ты сказал, что просто был настолько удолбан, что...

— А ты согласилась?

— А я не помню. Это было давно.

— Ну вот видишь — ты не помнишь.

— Да, но я, как видишь, сделала некоторые выводы, а ты находишься в той же точке...

— Я снова хочу сделать тебе предложение. Но не сделаю. Я просто снова хочу.

— Тони тебя утопит. В бассейне.

— Кто кого утопит...

— Ты остановился в развитии, и если бы не я...

— Я бы прекрасно жил в родных пенатах. А ты меня сдаешь в богадельню.

— Я тебя... Что-то Тони давно не идет:

— Подслушивает?

— Мы же говорим по-русски.

— Подсматривает?

— Но мы же ничего не делаем?

Света вышла и пошла искать Тони. Прошло минут пять, а их все еще не было. Я наслаждался десертом в одиночестве. Потом я закрыл глаза и проследовал за Светой по горячему перрону к двери, покрытой растрескавшейся бордовой краской. За дверью была лестница, по которой мы поднялись в комнату отдыха.

Стены салатного цвета, волнистый линолеум, легкий запах хлорки. Долгожданная прохлада. Неожиданная чистота. Ряды железных кроватей. Подушки выправлены так, что кажутся пилотками, надетыми на головы огромных невидимок. Комната отдыха была похожа на палату в детском саду, где во время тихого часа мы спали на соседних кроватях. Как-то она предложила показать то, что у нас под трусиками. Мы показали друг другу то, что у нас сзади, а не спереди, поэтому я еще долго не знал, чем девочки отличаются от мальчиков. Я был уверен, что и впереди у нас все одинаковое, ведь иначе она попросила бы меня показать то, что у меня впереди.

Тогда уже надо сказать, что мы появились на свет в одном роддоме. Нас вообще могли там перепутать. Это было бы простым объяснением моего постоянного притяжения к Свете. Ничем другим я его объяснить не могу. Я когда-то ей об этом сказал, но она опровергла и эту версию, напомнив, что в роддоме у нас на ручках были этикетки. Когда я встретил ее в Феодосии, у нее снова была ниточка с этикеткой.

— Нравится фенечка? — спросила она, протягивая руку. — У мамы сохранилась, представляешь?

На запястье болтался кружок, вырезанный из зеленой клеенки, с чернильной надписью «Колесникова, 3, 100».

На окнах висели простыни. Ветер поднимал их, я видел серые полосы железнодорожного полотна, чаек, ожидающих поездов. Света видела то же самое. Я проник в нее сзади и снизу. Она упиралась руками в подоконник, и сторонний наблюдатель решил, что я пытаюсь вытолкнуть Свету в окно. Мы уже лежали в постели, когда в дверь постучали и вошли наблюдатель в серой форме невидимого фронта и сержант милиции.

— Все в порядке? — спросил милиционер.

— Да, — сказал я, натягивая простыню.

— А товарищу показалось, что что-то не в порядке. Что кто-то кого-то из окна выбрасывал.

— Как видите, я здесь, — рассмеялась Света.

— Предъявите документы, — сказал милиционер.

Я завернулся в простыню и пошел к нашим сумкам.

— И как вы могли увидеть? — спросила Света. — Нас же штора полностью обволакивала. Вы нас не приняли за привидения?

— Мы вас правильно приняли, — сказал милиционер, — или заплатите штраф, или пройдемте со мной в участок.

— За что? — воскликнул я.

— За нарушение правил социалистического общежития.

— Но мы же ничего не делаем! — сказала Света.

— Вы лежите в одной постели, хотя вы не муж и жена.

— Ну и что? Мы родственники.

— Вы и не родственники — я видел ваши паспорта.

— Мы молочные брат и сестра, — сказала Света, — мы привыкли с детства спать в одной постельке.

— А как ваш муж на это смотрит? — поинтересовался милиционер.

— Прекрасно!

Все же ему удалось содрать с меня тридцать рублей — все, что у меня оставалось в кошельке.

Зазвонил телефон. Я не сразу нашел его, это была маленькая трубка. Нажав на кнопочку, я услышал Светин голос:

— ...а теперь мы плаваем в бассейне и ждем тебя.

— У меня нет плавок, — сказал я.

— Ничего, я тебе приготовила. Ты выйдешь из дома, пойдешь по тропинке налево и увидишь такой павильончик. Он светится. Заходи в него, мы там.

Я хотел сказать, что мне совершенно не хочется плавать, но Света уже положила трубку.

Снаружи бассейн выглядел, как парник. Внутри оказался резервуар с голубой водой, но и пара там было много, он не успевал просачиваться наружу сквозь открытую секцию.

На Свете был ультрамариновый купальник.

— Не кажется тебе, что быть втроем в таком маленьком бассейне — это почти то же, что в одной кровати? — спросил я, оказавшись в воде.

— Он не такой маленький, — сказала Света.

— Я читал, что сейчас в моде водяная постель. Может, это она и есть?

— Нет, это совсем другое. Как надувной матрас, только в нем не воздух, а вода. У нас такого нет. Зато есть бассейн. Я ужасно поправилась, да?

— Я бы не сказал.

Из воды перед нами поднялась голова Тони. Казалось, что вода не полностью скатилась с лица или что он встрял лицом в ледяную глыбу. Я подумал, глядя на его глаза, что он со своим зрением и без своих очков наверняка не отличает меня от Светы. Но я был не прав — первое, чем поинтересовался Тони, была моя татуировка («Светлана» выколото у меня на руке, но Тони заинтересовала татуировка у меня на груди, которую я пытаюсь забыть). Возможно, он надел контактные линзы. Света сказала, что сходит в дом и принесет выпивку. Я заказал белый martini со льдом, а Тони красный безо льда. Легко было представить, как Тони вытащит глаз и положит его в стакан. А Тони почему-то решил, что я пытаюсь прочесть его мысли.

— Ты делаешь ошибку, — сказал он, — когда думаешь за других людей. Этого не надо делать, поверь. Я тоже был таким, как ты, но потом я изменился. Я полностью переделал свою голову, и теперь я другой человек. Секунду назад я ощущал себя китом, а через минуту это может быть что-то другое. Например, ты. Тебе не кажется, что мы похожи? Теперь, когда я без очков, ты не мог этого не заметить, правда?

Я промолчал. Тони смотрел на меня своими рыбьими глазами, я понятия не имел, что у него на уме.

— Я не сумасшедший, — заявил он. Очевидно было, что не я, а как раз он пытается, вопреки своему заявлению, контролировать ход моих мыслей.

— Ты думаешь, что я болен, правда? — спросил он с притворным страхом.

— Все относительно, — сказал я, — по сравнению с тем, что мне приходилось видеть, это не болезнь.

— Я знаю, что это — старая тема, но попробуй понять: для меня это не метафора, а реальность. Света — не один человек. В буквальном смысле. Или, если ты в это не веришь, тогда я покажу тебе это с другой стороны. Мы с тобой сейчас один и тот же человек, правда?

Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза. Когда я моргнул, что-то изменилось, я вдруг понял, что это сон. Причем сон ничем не отличался от яви, все было то же самое. Но из другого материала. Я раздвинул руками воду и опустился на дно. Вода, в отличие от воздуха, была прозрачной и казалась намного более пригодной для дыхания. И в том, что я потерял сознание, виноват был мокрый воздух, а не вода.

Они не заметили, как я открыл глаза, и продолжали разговаривать. Я лежал на кровати, я был укрыт, я был в мокрых плавках, а на лбу у меня лежал влажный компресс.

— Когда же он очнется? — спросила Света.

— Тебе видней, — сказал Тони.

— Прекрати эти шутки. Неизвестно, что с ним.

— Он притворяется.

— Зачем?

— Понимаешь, перед тем как он отрубился, я хотел сам это сделать. Я думал притвориться. Он опередил меня на несколько секунд. И теперь, возможно, он продолжает выполнять мою программу.

— А для чего тебе притворяться?

— Это еще сложнее объяснить. На самом деле много причин. Но я могу открыть тебе одну — я хотел посмотреть, начнете ли вы сразу трахаться или все же окажете мне первую помощь.

— Я же тебе говорю — походи к психиатру.

— А так как твой друг в этот момент настроился на мою волну, — наверняка он посещал какие-то семинары по НЛП или что-то в таком роде, — он и выполнил то, что я сам должен был сделать, понимаешь? Потерял сознание он при этом по-настоящему, или он очень хороший актер, но ты говоришь, что он даже не любитель и вообще человек довольно простой, так что потерял на самом деле, а теперь он, скорее всего, притворяется...

— И ты именно поэтому так о нем говоришь.

— Ну да, чтобы он слышал, а как мне его расшевелить? Нашатыря у меня в доме нет, это, конечно, большое упущение. Не хлестать же мне его по щекам! Он может расценить это как вызов на дуэль, у вас ведь там все еще есть дуэли, правда? На чем бы он мне предложил драться, как ты думаешь?

— Я думаю, что надо вызывать врача.

Тони взял мою руку, посверлил пальцем запястье и сказал:

— С ним все в порядке. Если ты настаиваешь, я, конечно, вызову врача, но я советую подождать. Притворяется он или нет, в конце концов, это его дело, давай оставим его в покое на несколько минут, пойдём.

— Нет, я его не оставлю сейчас, — сказала Света.

— Пойми, если он притворяется, ему легче выйти из этой игры в наше отсутствие.

После этих слов я открыл глаза и слабо помахал им рукой.

— Ты притворялся? — спросила Света.

— Только одну минуту.

— Первую или последнюю? — поинтересовался Тони.

— Последнюю. Я что, потерял сознание? Это от воздуха — у вас там слишком влажно. Со мной это уже было однажды, но тогда меня подобрали родители и перенесли из ванной в комнату.

— Мы и есть твои родители, — сказал Тони, — мы тут со Светой посоветовались и решили тебя усыновить. Когда мы тебя переносили, в нас что-то шевельнулось, ты разбудил в нас материнские чувства.

— Ты был такой беспомощный, — сказала Света.

— Мы выйдем, — сказал Тони, обнимая ее за плечи, — а ты приходи в себя. Не спеши. Вон там на кресле твоя одежда. Мы будем ждать тебя в гостиной.

Когда они вышли, я осмотрел свои руки. Потом встал и подошел к зеркалу. Смешно, конечно, но мне хотелось убедиться, что на теле нет никаких следов. Я сам не знал, какие следы там могут быть, укусы, точки, оставляемые иголкой, или что-то другое.

4

На следующий день мы с Блейком ехали в богадельню. За окном мелькали нарисованные на бумаге в клеточку и размноженные на ксероксе коттед-

жи. Я думал, что это уже знакомый мне Бруклин, но Блейк сказал, что это Бронкс. «Бронкс, Бруклин, Квинз — разницы нет, — сказал Блейк, — хотя из этих блоков можно построить для себя персональный лабиринт и бегать по нему всю жизнь».

— Кстати, я так и не понял, чем ты занимаешься? — спросил я.

— Наукой, — сказал Тони.

— А именно?

— Я — геронтолог.

— Забавно.

— Ты думаешь? Да, ты прав. Могу я задать тебе аналогичный вопрос?

— Чем я занимаюсь? Ничем.

— Ну а раньше? Или чему ты учился?

— Это уж точно не имеет значения. Я учился прикладной математике, но после университета стал заниматься абстрактной живописью.

— Интересный переход. В каком-то смысле я проделал обратный, но это не важно, — махнул он рукой, предвидя мой вопрос. — Скажи, ты пришел к абстрактной живописи, минуя фигуративную?

— Не совсем, в том смысле что я в промежутке занимался топологией. К тому же сейчас у меня все это снова стало приобретать более конкретные контуры. Я бы показал тебе слайды, но я оставил их вчера в одном месте, кстати, оттуда могут позвонить.

— Я обязательно передам тебе, если позвонят. Я заметил, что ты пишешь. Это стихи или проза?

— Ни то ни другое. Это — заметки, которые потом помогают красить картинки.

— Наброски ты не делаешь?

— Нет. Я могу работать только в мастерской, пишу сразу красками. Вместо набросков я делаю эти записи.

— Мы приехали.

Я увидел пятиэтажное кирпичное здание. Голый двор, в котором играли в баскетбол. Игроки были мало похожи на престарелых. Это вообще были подростки. Но над входом в здание действительно висел щит с надписью «The Hotel for Retired People». Я перевел это как «для отставных людей», а потом, заглянув в словарь, увидел, что можно это перевести и как «для уединившихся». Retired from the world. Retired into themselves*. Настолько, что они даже не выходят во двор, и его заняли соседские тинейджеры. Огромный холл был похож на зал аэропорта, только вместо сидений были цветастые диваны, и это делало зал похожим одновременно на мебельный магазин. В воздухе чувствовался запах лака для волос. Я сидел на диване и ждал Блейка, который сказал, что сначала ему надо поговорить с администратором наедине, а потом он меня позовет. Представить себе, что будешь работать здесь, пока не перейдешь из персонала в разряд клиентов... Но зачем было мне это представлять? Тем более что, работая здесь, я и не мог зарабатывать на такую старость — Блейк по дороге объяснил мне, что в гостинице живут не то чтобы очень богатые, но вполне состоятельные люди. Месячная плата была в три раза больше, чем обещанная мне зарплата. В холле появился подтянутый старик в джинсах и полосатой рубашке. Он подошел ко мне и сел на стоявший напротив диванчик.

— Фрэнк, — представился он, — я — Фрэнк. Полковник в отставке. А ты к кому пришел? Не ко мне?

— Возможно, — сказал я, — я еще не знаю.

* Удалившихся от мира. Замкнувшихся в себе (англ.).

— Интересно, — сказал Фрэнк, — так ты, значит, на работу. Тогда и в самом деле может статься, что ко мне, потому что прикрепленный ко мне сотрудник недавно уволился, и его временно заменяют. Впрочем, я ведь не знаю, кем ты будешь.

— Что-то в этом роде, — сказал я, — во всяком случае, не на кухню.

— Я тебе расскажу старую шутку, я всегда рассказываю ее новобранцам для поднятия боевого духа.

— Привет, Фрэнк, — раздался голос Блейка, — отпусти парня, у тебя еще будет время с ним наговориться.

— Сейчас, я только расскажу ему анекдот. Слушай. Сидят в блиндаже сперматозоиды...

— Все уже знают этот анекдот, Фрэнк.

Блейк отвел меня в сторону и сказал, что все улажено и теперь он представит меня администратору.

Беседа с администратором была деловой и недолгой. После разговора с Блейком мисс Гронски не любопытствовала, кто я и откуда и какие у меня при этом права, она сразу перешла к моим обязанностям. Она вручила мне список двадцати человек, которые становились с этого момента моими подопечными. Даже если они не звонили мне, я должен был сам два раза в день к ним наведываться, интересоваться самочувствием, настроением, помогать решать мелкие бытовые проблемы, в случае необходимости сопровождать на прогулки, в случае отсутствия у кого-нибудь из них партнера играть с ними в шахматы, нарды и компьютерные игры. Мой рабочий день составлял при этом восемь часов, суббота и воскресенье были выходными. Комнату мне предстояло делить с работником моих лет польского происхождения, который в данный момент был в отпуске. Я посмотрел на список и уви-

дел в нем Фрэнсиса Миллета из триста пятнадцатого номера. Я предположил, что это уже знакомый мне полковник, позже выяснилось, что я не ошибся. После этих инструкций я покинул кабинет, а Блейк остался. Прощаясь, он сунул мне визитную карточку. На ней было написано, что Тони — профессор института экспериментальной медицины.

Парень, назвавшийся Янеком, провел меня в номер, похожий на больничную палату. Украсить апартаменты мне было нечем, я только сдвинул вместе кровати, а потом повернул их на девяносто градусов — спинками к окну.

Потом я спустился в столовую, где Янек познакомил меня с остальными работниками и работницами. Я заметил среди женщин одну хорошенькую. Она делала вид, что меня не замечает. Ко мне подседа другая женщина с добрым квадратным лицом доярки и попыталась что-то спросить меня по-русски. Я сказал по-украински, чтобы она говорила по-польски. «Як зе маш? — спросила она. — Для чего таки худый?» Я сказал, что слежу за фигурой. Я действительно в этот момент следил, но не за своей. Заботливая женщина принесла мне две тарелки, одна была наполнена спагетти, уже перемешанными с соусом, на другой лежали три крутых яйца, очищенных от скорлупы.

— Впйерв зйеш то, потом пожри очами Агнешке. Она не люби худых.

5

Раздался стук в дверь, я сказал: «Открыто, входите!» Дверь приоткрылась, и оттуда показалось

лицо Фрэнка. Он выглядел озабоченным. Я спросил, что случилось.

— Ничего не случилось. Что здесь может случиться? Кто-то умер, здесь иногда кто-то умирает, ну и что? Вчера мы играли с ним в покер, сегодня он умер. Но я хотел рассказать тебе свой сон. Ты не возражаешь?

— Конечно, нет, — сказал я и предложил ему сесть на вторую кровать.

Фрэнк сел с краю, немного подумал и продвинулся дальше, чтобы облокотиться о стену.

— Мне приснилось, что я жарю на костре женщин, — сказал Фрэнк и сделал паузу, — как бы ты это объяснил?

— Мы договорились, что ты просто будешь рассказывать мне свои сны, — сказал я, — мы не договаривались о том, что я буду их трактовать. Но если тебе интересно мое мнение, я думаю, это Вьетнам.

— Послушай, я жарил на костре не просто женщин, а своих женщин. Всех, кого я перетрахал за свою нелегкую жизнь. Все они оказались ведьмами, представляешь?

— Тогда это еще и проекция «охоты на ведьм». Ты не принимал в ней участия?

— У тебя какое-то однобокое представление о моей жизни, Андрей. Я дам тебе почитать свои мемуары, как только закончу первую часть. Так вот, во сне я кричал, может быть, мне стало вдруг жаль всех этих ведьм, а может быть, я и сам пострадал, потому что — я тебе не сказал? Все они были насажены на мой член. Мой член был во сне несколько преувеличен.

— Тогда это был не костер, а лесной пожар?

— Называй это как хочешь, но развел его я, а не черти.

— Ты старый черт, Фрэнк. Кому еще снятся подобные сны?

— В общем, этой ночью я кричал, скорее всего, потому, что обжигал во сне член, а вовсе не потому, что мне вдруг захотелось петь среди ночи «Мэри любит нас всех».

— Ну и?

— И если эта грязная свинья станет на меня жаловаться, ты должен знать, как все было на самом деле. Он же меня и разбудил, поэтому он-то знает, как было, но соседи, навёрно, слышали мои крики, и Джимми может этим воспользоваться. Ты меня понял? А ты должен его убедить принять душ, иначе я задохнусь, понимаешь?

— Я тебе обещаю, Фрэнк. Я сделаю все, что в моих силах.

— Я дам тебе почитать мои мемуары, тогда ты, возможно, что-то поймешь, что такое жизнь, что такое война.

— Что такое война?

— Когда мы с тобой в прошлый раз говорили, я заметил, что ты не понимаешь одну простую вещь. Дело в том, что каждый воюет за себя. Не за Америку, не за демократию, не за какого-нибудь Форда, а за себя. Ты попадаешь в такие условия, где тебя хотят убить. Очень хотят. А у тебя есть оружие, и ты пытаешься спастись. Больше ничего нет, понимаешь?

Раздался звонок, я сказал:

— Прости, Фрэнк. — И вышел из комнаты.

Звонила миссис Райн из 302-го номера. Она не была моей подопечной, но я пошел к ней, потому что иначе миссис Райн пришла бы сама.

Она открыла дверь и предложила мне войти. Я остался стоять в коридоре и поинтересовался от-

туда, что, собственно, ей нужно. Ответ не был у нее заранее приготовлен. На ней были розовые штанишки и белая футболка с розовой надписью «Поцелуй меня, я королева Уэльса», на голове повязка, как у теннисистов, лицо казалось чем-то смазанным и блестело, но глаза блестели еще сильнее. Она пользовалась ужасными духами, очень сильными и стойкими, а так как она была женщиной непоседливой и все время слонялась по гостинице, стуча в разные двери, подсаживаясь к кому-нибудь в холле на диванчик, то запах можно было встретить где угодно. Из-за этого казалось, что миссис Райн всегда где-то рядом, что она вообще не одна, что ее много.

— Ничего не случилось, — сказала она, — просто я решила пригласить тебя в гости. Имею я право пригласить тебя в гости? Выпить бокал вина?

Я давно уже не впускал миссис Райн к себе в комнату, беседовал с ней сквозь закрытую дверь, или, приоткрыв дверь, я стоял на пороге, не давая ей войти. Во время первого визита она призналась мне в любви. «Это не секс, — тут же сказала она, — а любовь, такая же, как любовь к детям, к животным». Но во время второго визита она на моих глазах вдруг избавилась от своих лосин, под которыми у нее ничего не было, так что я хотел было отправиться в город, оставив миссис Райн в своем номере, но, увидев, что я ухожу, она покорно оделась и ушла сама. После этого она долгое время меня не беспокоила. Как-то я увидел ее на платформе сабвея, все в тех же лосинах и футболке, притом что температура на улице была нулевая (по Цельсию). Я подошел к ней и предложил вернуться в гостиницу.

— Иначе вы простудитесь, — сказал я.

— Я здорова как черт, — пробурчала миссис Райн, выдыхая мне в лицо дым сигары. Все же она согласилась вернуться в гостиницу в моем сопровождении. По дороге она призналась, что хотела лечь на рельсы, потом начала говорить нечто совсем странное, что мы и так все на рельсах, что стены наших комнат стоят на рельсах и в любую секунду все может двинуться, так зачем ждать? После этого она перешла к уже знакомым мне космическим мотивам.

На этот раз она выглядела как-то трезво, и я решил войти. Действительно, возле двери я увидел портрет Гагарина в скафандре. Я уже слышал, что миссис Райн, входя в комнату или выходя из нее, каждый раз становится на цыпочки и целует Гагарина сквозь стекло. На столике стояла бутылка божолы и два бокала. Номер был одноместный. Я был удивлен не только потому, что еще не видел ни в одном номере такой домашней обстановки, но и потому, что эта обстановка совершенно не вязалась с обликом миссис Райн. Ее можно было принять за жительницу ночлежки или вообще улицы. На полу лежал белоснежный мохнатый ковер, стояли полки, загроможденные книгами и статуэтками.

— Садитесь, друг мой, — призвала меня миссис Райн, указывая на кресло возле журнального столика.

Мы чокнулись и выпили, после чего миссис Райн подтащила к столику альбомы с уже знакомыми мне фотографиями. Как я и почувствовал, стоя у дверей, на этот раз все было мирно. Миссис Райн, казалось, и сама была довольна собой, она даже мурлыкала себе под нос какую-то французскую песенку. В руках у нее оказались карты, она спросила:

— Ты не хочешь сыграть со мной в покер?

— Я не умею.

— Да? А Фрэнк говорил, что вы с ним играете. Что же вы тогда делаете? Меня ты не пускаешь на порог, а этот грязный пехотинец сидит у тебя каждый день по два часа. Я не знала, что ты гомосексуалист.

Я подумал и не стал это отрицать.

— Да, — сказал я, — что делать, у каждого свои слабости.

— Я сразу поняла, что в тебе есть какая-то тайна, — сказала миссис Райн, — но я думала, что это что-то другое. Все же я уверена, что ты связан с КГБ. Они хотят таким образом выведать, чем здесь занимается Блейк?

— Я, пожалуй, пойду, — сказал я, — спасибо за вино.

— Подожди, я хочу тебе что-то показать, — миссис Райн встала из-за стола и подошла к стене. — Подойди и помоги мне, — попросила она. Я подошел и стал у стены рядом с ней. Она попросила меня делать то же, что она, после чего начала толкать стену двумя руками. При этом она очень напряглась, на виске вздулась жилка. Я тоже приложил руки к стене и стал делать вид, что толкаю.

— Нет, — вдруг выдохнула из себя миссис Райн, — сейчас не получится. Очевидно, это у них работает по часам, я так и предполагала.

— Это хорошее упражнение, — сказал я, — я видел его по телевизору в каком-то курсе йоги.

— Болван, — сказала миссис Райн, тяжело дыша, — тебе нельзя доверять тайны. Не знаю, как они нанимают на работу таких болванов.

Я не стал уточнять, имеет ли она в виду КГБ или администрацию гостиницы, я сказал «Хэвэнайсдей!» и вышел из комнаты.

Проснувшись от стука в дверь, я посмотрел на часы и увидел, что теперь три часа ночи. Я решил не открывать. Я ведь не обязан был ночевать в этом заведении, это было мое личное дело. Миссис Райн взяла в последнее время привычку стучаться ко мне по ночам. Это не надо рассматривать как сексуальное преследование. Наоборот, она как раз недавно нашла себе друга, но он был такой же хронический алкоголик, и часто миссис Райн не могла к нему достучаться, что днем, что ночью мистер Биннингем был мертвецки пьян и спал или, во всяком случае, не бодрствовал, и это становилось причиной необычайного беспокойства миссис Райн. Она стучалась ко мне, чтобы я достучался до ее друга. Хотя, по-моему, как раз миссис Райн и была чемпионкой мира по стуку.

На этот раз я решил себя не выдавать и на стук с самого начала никак не откликнулся. Я подумал, что если миссис Райн будет свирепствовать, я позвоню Агнешке, попрошу ее подойти к моей двери и сказать, что меня нет. Конечно, это было бы жестоко по отношению к Агнешке, но в противном случае миссис Райн все равно могла поднять на ноги всю гостиницу. Когда за дверью произнесли русские слова, я вздрогнул, вспомнив, что миссис Райн стащила у меня словарь. Но слова за дверью были произнесены на чистом русском языке, в правильной последовательности, да и голос этот я всегда узнавал, пусть не сразу. Поэтому я встал, открыл дверь и впустил в комнату Свету.

— У тебя можно курить? — спросила она.

— Не знаю, — сказал я, — если тебе запретили курить и ты поэтому ко мне приехала, тогда кури.

— Что это значит? — спросила она.

— Это значит, что я уже не надеялся тебя увидеть.

— Но тебе, по-моему, здесь не так уж и плохо, насколько я знаю.

— Вот, возьми вместо пепельницы, — сказал я, протягивая ей граненый стакан.

— Откуда у тебя такие стаканы? — спросила она, стряхивая пепел. — С собой привез?

— Это стаканы Чеслава.

— А где он сам?

— Не знаю, он поехал в отпуск и пока не вернулся, хотя прошло уже четыре месяца.

— Я ушла от Блейка, представляешь?

— Куда?

— Понятия не имею. Пока вот сюда.

— Утром он за тобой примчится, и ты сядешь в машину и поедешь назад. Мы ведь с тобой знаем друг друга, правда?

— Нет, нет, ты же не знаешь его. Он совершенно сумасшедший, это невозможно. Неудавшийся художник — худшее из всего, что может быть.

— Но он ведь реализуется в науке...

— Нет, то, что у него жуткие комплексы после занятий живописью, это полбеда, это цветочки, ягодки — это наука, да какая к черту наука, скорее это театр, но я бы плевала на все, чем бы дитя ни тешилось, если бы он не стал из-за этого уже полностью сумасшедшим, теперь его невозможно вынести.

— Только что ты сказала, что наука является следствием, теперь она же стала причиной.

— Это замкнутый круг, понимаешь? Может, тебе было бы интересно его разорвать, а я больше не могу это терпеть, с меня хватит. Возьмут меня к вам, как ты думаешь?

— Не знаю. Скорее меня теперь выгонят.

— Можно подать на убежище. Тогда дают право на работу. Найдем что-нибудь другое. Будем жить с тобой бедно, но честно, да? Ты соскучился?

Она всегда задавала мне этот вопрос, а я никогда не отвечал на него словами. Потом, когда я будил ее ночью, она каждый раз точно так же спрашивала: «Ты соскучился?» — как после года разлуки. И год становился равен часу. Но на этот раз она меня разбудила первая и сказала:

— Тебя хочет видеть женщина.

Я повернул голову и увидел миссис Райн.

— Андрей, я хотела сказать, что я врала тебе. Я не космонавт, — сказала миссис Райн и вышла из комнаты.

Когда я проснулся, Светы уже след простыл, и я вообще не уверен был, что все это не было сном, пока не увидел стакан с окурками.

Раздался звонок из 331-го номера, я пошел туда, напевая: «Мне не нужно много Светы, мне нужно, чтобы было светлей...»

Мистер Шапиро попросил меня достать со шкафа меховую шапку и, если я буду так любезен, сопровождать его во время прогулки. Он был единственным из моих подопечных, кто гулял по улицам, остальные только выходили на крыльцо и во двор.

Обычно мы шли с ним по прямой в сторону зоопарка, но до зоопарка никогда не доходили. Внезапно мистер Шапиро останавливался и, глядя прямо перед собой, говорил:

— Все, теперь идем назад.

На этот раз мы пробирались по улице негритянского района, под ногами хрустело битое стекло, на колючей проволоке, ограждавшей спортивную площадку, висела спутанная магнитофонная

пленка. Из окна бетонного барака доносился рэп, прохожие делали конвульсивные движения. Я напомнил мистеру Шапиро, что, гуляя здесь последний раз, мы видели, как из окна вылетел белый лифчик.

— Да, и медленно так опустился на асфальт. Как парный парашют, — вспомнил мистер Шапиро.

— Я слышал, что феминистки хотят воздвигнуть Статую Свободы из лифчиков, — сказал я, — они свозят лифчики со всей Америки. Не будут больше женщины их носить.

— Жаль.

— Мне тоже.

— Но я знаю женщин, которые будут их носить еще тысячу лет, если что, я тебя познакомлю.

— С этими лысыми, о которых вы рассказывали?

— Да, но они в очень красивых париках.

— Познакомьте.

— А Агнешка?

— Она не носит ни лифчика, ни парика. Притом что она подстриглась почти налысо.

— Когда я смотрю, как они дергаются, — сказал мистер Шапиро, показывая на прохожих, — мне кажется, что все здесь под током.

— Колючая проволока?

— Все. Бельевые веревки, асфальт. Воздух.

— Почему же мы не дергаемся?

— Благодаря большому сопротивлению.

— Это какое-то расистское объяснение.

— Ничуть. Моя кожа обладает большим сопротивлением не потому, что она белая, а потому что я все время решаю какую-нибудь задачу. Я это точно знаю благодаря вашему Блейку, он недавно проводил такие опыты — давал решать логическую зада-

чу и подключал к пальцам электроды. Оказалось, что во время поиска решения сопротивление кожи увеличивается.

7

Я думал, что по телевизору идет черно-белый фильм, но помехи были цветными, и я понял, что пронесшийся ночью ураган повредил антенну. У фильма или у цветных помех было много зрителей: почти все кресла перед огромным экраном были заняты. Я искал глазами кого-то из своих знакомых, но со спины их трудно было узнать, повсюду были одинаковые буруны белых волос. Открылась дверь номера, и оттуда вышел высокий никелированный стульчик. Вслед за ним показался очень худой старик. Я подумал, что это новенький, а потом вспомнил, что когда-то уже видел его. Наверно, он с тех пор не покидал номер. Я подошел к нему и предложил помощь, но он сказал, что хочет сам немного подвигаться, подтолкнул стульчик и сделал шаг.

— Вы можете оказать мне другую услугу, — сказал он, — помочь мне разобраться с окном.

— Я очень плохо в этом разбираюсь, — сказал я.

— Жаль. Дело в том, что у меня в окне не тот вид. Понимаете, о чем я говорю?

— Ну покажите, что у вас случилось.

— Вы очень добры, заходите пожалуйста.

Я вошел в двухместный номер, заполненный скисшим воздухом. Подошел к окну и открыл его.

— А сейчас правильный вид? — спросил я.

— Вы шутите? — сказал старик. — Разве вы не видите, что там сейчас совсем не то?

— А что должно быть?

— Озеро, церковь. То, что было, когда я здесь поселился, что же еще? Я вижу, что вы не сможете мне помочь, простите за беспокойство. Завтра спрошу у Яна. Ну ладно, а можете вы мне сказать что-нибудь о возобновлении экспериментов в таториуме?

Я слышал подобные вещи уже не первый раз и даже решил поговорить об этом со Светой, но пока я сказал, что мне ничего не известно ни о самих экспериментах, ни об условиях участия в них. Выходя, я подумал, что Блейк, возможно, сам распространяет эти слухи или это делает администрация — с целью привлечения новых клиентов.

Но я оказался не прав. Наоборот, через несколько дней клиенты начали покидать гостиницу. Первым был полковник Миллет. Одновременно растворилась в воздухе Агнешка.

Они подсунули мне под дверь два письма в одном конверте.

Дорогой Андрей, — писал Фрэнк, — я больше не хочу жить в курятнике. У меня есть сбережения, вполне ощутимая сумма, которой должно хватить, у меня есть дом в другом штате, что касается Агнешки, она тоже сделала свой выбор. Я влюбился в нее с первого взгляда, и одной из причин, по которым я сделал этот шаг, было то, что я не мог больше видеть, как такое волшебное существо (я считаю, что Агнешка — не только красива, она еще и выдающаяся личность) подпадает под влияние такого бездушного, циничного человека, каким, при всем моем уважении, ты, Андрей, безусловно являешься. Все же я испытываю к тебе симпатию и поэтому даю дружеский совет: скорее покидай этот проклятый дом. Это — не более чем

игрушка в руках Блейка, эдакий кубик Рубика. Я не хочу вдаваться здесь в подробности, но, обладая синтетическим умом, я по всем этим обрывкам информации составил себе картину того, что здесь на самом деле происходит, и все это меня никак не устраивает. Я не хочу под конец быть игрушкой в чьих-то руках, игрушкой в игрушке, потому что весь этот дом на самом деле... Впрочем, если ты не полный идиот, ты это сам поймешь. Прости меня за не совсем связное изложение мыслей, но я действительно сильно взволнован, я чувствую, что возвращаюсь в жизнь — из смерти, да, да, прощай!

В письме Агнешки была не менее интересная часть:

...ты ни о чем пока не догадываешься, потому что никто из твоих подопечных еще не исчезал. Когда у меня это случилось, я чуть не сошла с ума. Я уезжала на три дня в Филадельфию, приехала поздно и ничего не знала. Утром я пошла в 120-ю комнату к миссис Маккракен и не то чтобы не нашла миссис Маккракен, но вообще никакой 120-й комнаты больше не было. 119-я была теперь последней. Я гладила стены руками и думала, что сошла с ума. Мисс Гронски сказала мне, что миссис Маккракен умерла. Потом я узнала, что комнаты, в которых живут старики, разборные, стены можно передвигать на роликах. Блейк мне сам в этом признался (не знаю, являются ли для тебя тайной наши с ним отношения), но он не сказал, куда делись эти стены. И зачем это нужно. Ты как хочешь, но я думаю, что здесь что-то неладно. Я знаю, ты считаешь меня суеверной крес-

тьянкой, не верь мне, это твое дело. Обрати внимание, что с другой стороны здания находится какая-то непонятная организация, очень хорошо охраняемая — попробуй, ты никогда не войдешь туда: мало того что там сидят три лайфгарда, чтобы пройти сквозь турникет, надо иметь магнитную карточку. Возле входа висят видеокамеры, которые Блейк покупал для гостиницы — вместе с каким-то русским парнем, по-моему, его зовут Слава, они купили целую дюжину таких камер, но я ни одной не видела в гостинице. Я думаю, что это никакой не филиал «Эрнст энд Янг», а продолжение гостиницы на тот свет. Вот что охраняют лайфгарды, на самом деле дэсгарды, как говорит Фрэнк... Не пей чай в столовой, — неожиданно советовала она в заключение, — но делай вид, что пьешь.*

Я позвонил Свете и сказал, что все тут говорят о каких-то экспериментах и, похоже, скоро разбегутся. Уже есть первые беженцы.

— Блейк не посвящает меня в эти тайны, — сказала Света.

— Я хочу поговорить с Блейком. Задать ему несколько вопросов.

— Ну так с ним и говори, меня в это не впутывай, ладно?

— Ладно, — сказал я, — не буду.

— Слушай, на этой неделе нет, а на той мы обязательно встретимся. Ты согласен?

— Конечно. Моя подружка тоже сбежала, я совсем один.

— Расскажи мне про нее.

* Death (англ.) — смерть.

— Да нечего рассказывать. Внешне немного напоминала тебя. При этом я тоже был у нее в качестве статиста — недавно в пабе она, уже изрядно набравшись, пнула ногой стульчик и закричала, что я играю роль другого человека. В общем, наши чувства оказались взаимными, но это не мешало нам выполнять некоторые желания друг друга. Все и началось с выполнения желаний — мы поспорили на «американку», и Агнешка проиграла. Спорили мы о чем-то голливудском, кто кого на ком, при этом я понятия не имел, кто есть кто, по-моему, Агнешка сыграла со мной в поддавки. Меня очень многое в ней раздражало, но все же...

— Я выражаю тебе свои соболезнования. Увидимся на той неделе, да?

8

В комнату вошел Блейк.

— Мы хотим взять тебя с собой на парти, — объявил он.

— Не могу, я собираюсь в гости, — сказал я, хотя на самом деле намеревался сидеть в номере или шляться по Манхэттену.

— А ты не можешь перенести свой визит? — спросила Света, заглядывая в комнату. Она была одета в черную блузку и черные брюки с большими накладными карманами, волосы были собраны в хвост. Казалось, что ей лет семнадцать. Она как будто говорила со мной из прошлого, или из будущего, в котором мы были вместе, а Блейк был всего лишь тенью.

Мы приехали к дому, в который меня сразу после перелета привели поиски передвижников. Теперь

бронированные двери были открыты. За одной из них оказался большой зал. Там стучало техно, перемешивались клубы дыма, танцующие люди и какая-то органика, увеличенная микроскопом, соединенным с диапроектором.

— Это — плазма крови, — сказал Блейк, заметив, что я рассматриваю стены, — причем она так подкрашена, что видны и красные, и белые тельца.

Диапроектор был не один, и увеличенная кровь текла, таким образом, по стенам, по потолку и по силуэтам людей. Огромная тень бармена смешивала на стене весь этот коктейль. Какое-то время я танцевал рядом со Светой и Блейком, а потом пошел в туалет. Увидев там девушку, я сказал, что ошибся дверью, и хотел выйти, но она возразила, что это ее ошибка, и в подтверждение показала на писсуары. «Я не сразу их заметила», — сказала она. В руке у нее была пластинка, на которой дымилась черная горошинка. Девушка нацелилась на горошинку трубочкой, взяла трубочку в рот и потянула дым. После этого она вопросительно посмотрела на меня. Я кивнул, и она протянула все это мне. Дымок был вкусный, но почти сразу закончился. Девушка поцеловала меня в губы и вышла из туалета.

В зале стало еще теснее, этого не было видно, сигаретный дым становился непроницаемым, но это чувствовалось, как только ты начинал двигаться. Повсюду были чьи-то плечи. По потолку плыли какие-то хламидомонады. Я увидел рядом с собой сиреневое лицо Блейка и прокричал ему, что ухожу. Он сказал, что Света уже уехала, а он остался, потому что ему нравится. К нам протиснулся маленький человек в белом костюме, эдакий знайка в роговых очках. Он тянулся к Блейку на цыпочках, Блейк на-

клонялся к нему — они о чем-то оживленно говорили, и я решил воспользоваться этим, чтобы попытаться выйти из зала, но Блейк остановил меня, схватив за запястье. В руке у меня была бутылочка с «бадвайзером», и, слушая, как Блейк кричит мне на ухо что-то о звездной природе маленького человечка, я гадал, удастся ли мне разбить о лысину геронтолога такую маленькую тару. Похоже было, что он окончательно мне осточертел. Я допил пиво и бросил бутылку на пол. Блейк поддал ее ногой и сказал, что человечек зовет нас в свои чертоги. Уже после того как я согласился, Блейк сказал мне на ухо, что это он меня так завлекал, а на самом деле звезда погасшая.

Погасшие звезды превращаются в белые карлики, которые, несмотря на свои небольшие размеры, обладают огромной массой и искривляют пространство еще сильнее, чем это делала звезда. Вдруг возле нас не стало никакой толпы, все это было где-то далеко на левом фланге, мы беспрепятственно покинули зал. В коридоре был полумрак, пахло сыростью, парти, продолжавшееся за стенкой, издавал только стук. Белый Карлик подвел нас к бронированной двери, на которой была табличка с надписью «Лесли Гроув». «Я у вас уже был, — сказал я, — я оставил вам слайды». Белый Карлик засмеялся. «Лесли Гроув — это не я», — сказал он. Я хотел продолжить разговор, чтобы понять, в каком смысле он — не он, но они с Блейком начали говорить о ценах на недвижимость в Южной Англии, а я подошел к столу и стал рассматривать обложки книг. Судя по их разнообразию, Белый Карлик обладал большим кругозором, во всяком случае, досугом. Он неожиданно схватился за голову и сказал, что едва не забыл найти в толпе одного очень нуж-

ного человека. Предложил нам подождать. Когда мы остались вдвоем, Блейк сказал, что Белый Карлик (он назвал его Майклом) — не Лесли Гроув. Он недавно поменялся с ней студиями, но еще не переехал. Я уже и сам видел, что это другой бункер. Кроме письменного стола здесь стоял еще и теннисный. Он был придвинут к стене. Я хотел спросить у Блейка, не знает ли он Лесли Гроув, но подумал, что лучше поговорить об этом с самим Белым Карликом. Мне не хотелось в случае чего... Мне не хотелось быть обязанным Блейку чем-то еще. Я спросил у него, чем же именно блистает, или еще недавно блистал, этот человек.

— Да так, — замялся Блейк, — всем понемногу... Чемпион по настольному теннису — видишь, он и тут играет в эдакий мини-сквош. Он хороший друг. За ним как за каменной стеной, — Блейк хохотнул, — кстати, не хочешь сыграть? Тогда посмотрим, есть ли у него ракетки.

Ракетки лежали в ящике письменного стола. Мы отодвинули теннисный стол от стены, попробовали играть, но Блейк не смог принять ни одной подачи.

— Я не могу при таком свете, — сказал он.

Я поменялся с ним местами, но это не помогло, Блейк не видел шарик. Свет и в самом деле был плохой, из трех неоновых трубок включилась только одна, и она уже была больна тиком. Очевидно, Белому Карлику хватало настольной лампы. Блейк прошелся к столу и включил ее, но это принесло мало проку, зато Блейка внезапно осенило. Он схватил лежавшую наверху книжной стопки бейсболку с надписью «Вудсток-брокер» и, надев ее на голову, перебежал к теннисному столу.

— Подай, — сказал Блейк, — теперь все в порядке. Козырек отсекает отражения.

Я подал шарик, Блейк принял, и мы стали разыгрываться. Минут через пять мы уже играли на счет.

К концу партии мы пришли с равными очками, и началась игра «на больше-меньше». Для того чтобы одержать верх, кто-то должен был выиграть подряд две подачи — свою и противника. И тут стали происходить странные вещи: один раз выигрывал я, один раз Блейк, и так повторялось то ли час, то ли сутки, а может, так всегда и было, только я этого не осознавал. Можно сказать, и теперь это играл не я и не Блейк, хотя для Блейка все это, во всяком случае, не было новостью. Он весь сиял от радости.

— Тебе пора переходить на другую сторону, — кричал Блейк, не прекращая играть, — ты ведь еще веришь, что есть другая сторона? Смотри, шарик уже летает по желобу Мебиуса. Следи, чтобы туда не засосало твою руку!

Я хотел поддаться, но у меня не получалось: я не руководил своими движениями. Шло время, или стояло на месте, а мы танцевали вокруг стола. У меня в детстве были такие игрушки: курочки, клюющие поочередно пшено, дровосеки, ударяющие по бревну. Все это из пластмассы.

Неоновая лампа мигала, подобно стробоскопу. Краем глаза, прикованного к шарик, я увидел, как сквозь стену проходят какие-то люди. Я хотел спросить Блейка, видит ли он этих людей (их становилось уже слишком много, но их отделяла от нас то ли живая, то ли призрачная стена полицейских в прозрачных доспехах) и вообще, где, по его мнению, мы находимся и что мы на самом деле делаем, но я увидел, как Блейк, тушуя, ударил сам себя ракеткой в лицо. Ракетка упала на пол, вслед за ней очки. Блейк стоял, согнувшись пополам, зажав

глаз рукой. Я обошел стол и поднял очки. Одно стекло было разбито вдребезги, другое треснуло. Кроме нас двоих в комнате никого не было.

Дежурный врач в клинике, в которую я доставил Блейка, извлек из его глаза шесть осколков.

Глаза у него и в самом деле тверже, чем стекло, — врач сказал, что на роговице нет ни единой царапинки.

9

Мистер Шапиро попросил меня съездить в Бруклин и привезти несколько папок с его научными изысканиями. Я приехал на метро в район Боро-парка, в который Света и Блейк завезли меня три месяца назад, сразу после приземления. В блокноте у меня были координаты подвальчика, где я тогда проснулся, или уснул, теперь это уже не имело значения. Теперь мне надо было найти другую точку, и я развернул бумажку с адресом, который написал мистер Шапиро. Я увидел там два дробных числа: 29,3 и 48,51, — и стал искать телефон-автомат, чтобы позвонить в гостиницу и выяснить, что имелось в виду. Автомат, который я нашел, не работал. Глядя на белые линии, которыми одинаковые, стоящие вплоты друг к другу коттеджи разлинеены на прямоугольники кирпичей, я подумал, что координатная сетка здесь имеет деления не только для целых, но и для десятых, и сотых. Моросил мелкий дождь. Я незаметно промок и зашел в магазин согреться и выпить кофе. Продавец (хасид, похожий на пингвина) спал стоя. Мне казалось, что я вижу его черно-белый сон. Наконец я нашел автомат, позвонил в гостиницу и узнал, что

координаты целые. Но неоднозначные, в том смысле что папка может быть в одном из двух или даже сразу в двух местах. Собрав таким образом разбросанные по Бруклину бумаги мистера Шапи-ро, я поехал в Манхэттен. В электричке напротив меня сидела белая негритянка, а это в черно-белом сне означает скорое пробуждение. Или появление цвета: через две остановки она вышла, и на ее место сел индеец в национальном костюме. Мне показалось, что раскраска его оперения соответствует порядку цветов в спектре, на который распадается белый цвет. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Сидит напротив. Над его оперением — серые пеналы Даунтауна. Над моей головой — строчки Сергея Курехина на плакатике из серии «Поэзия в движении»:

вдоль обрыва ползет раввин,
он мой внутренний павлин...

Выйдя из метро, я пошел по Шестой авеню и остановился у витрины, в которой был манекен с гитарой. Рядом со мной стояла какая-то женщина. Ее отражение не было Светой. Она зашла в магазин, я остался на улице.

Я вообще никогда не заходил в непродуктовый магазин без Светы. Это был ее мир, она водила меня по нему за ручку.

Остановившись у какой-то витрины, она предлагала мне угадать, какой из выставленных там предметов продается.

Я говорил: гостиная из черного дерева. Света смеялась и уверяла меня, что из всей гостиной продаются только вот эти, как бы забытые на столике, бриллиантовые запонки.

Так что и здесь могли продаваться не гитары, а какая-то одежда или осенние листья, облепившие витрину с внутренней стороны. С того вечера, когда мы были вместе на парти, я больше не видел Свету. Может быть, ее уже и невозможно увидеть. Глаза у нее становились все больше похожими на глаза Блейка. На фотоэлементы, которые включали Свету только когда на них попадал свет, отраженный моими глазами. Однажды, уходя от нее, я быстро обернулся и успел заметить, как Светлана Колесникова превращается во что-то совершенно другое, что-то, чего мне лучше было не видеть.

В последнее время я редко покидаю гостиницу.

Я выхожу из номера, но сам вид коридора с бесконечным рядом дверей загоняет меня обратно.

Если я ухожу, то только после нескольких попыток, часто на ночь глядя.

Позавчера я возвращался в пять часов утра и впервые увидел, как рабочие развозят стены.

Это были стены комнаты миссис Райн.

Так разбирают реквизит после выступления иллюзиониста.

Черные ящики с зеркальными перегородками.

Я заметил на полу бороздку, по которой возят стены, стоящие на шарикоподшипниках. Бороздка неглубокая, и я не отличал ее от линий, образующих узор. Я пошел по ней и уперся в железные двери.

Наверное, за ними находится склад.

Мне показалось, что я обнаружил швы, по которым расплзается мир.

Я думаю о том, чтобы покинуть богадельню,

но это не так легко сделать, потому что в этом случае я лишаяюсь не только работы, но и жилья.

Жилье, правда, само по себе достаточно прозрачное.

Каждое утро я могу проснуться и не увидеть вокруг себя никаких стен. Возможно, этим объясняется мое маниакальное стремление окружить себя листками, на которых я пишу этот текст.

На одних я писал черновик, другие оставались чистыми. Думая, что писать дальше, я без конца перегибал бумагу, пока из нее не выходили объемные фигурки (японцы называют это «оригами»).

После многочисленных мышей, жаб и журавлей, которых я дарил своим подопечным, у меня стали получаться: складчатая собака Блейка — шарпей, его дом, коттеджи Бруклина и Бронкса, морщинистые старики в раскладывающихся комнатах. Из листа черновика, на котором все строчки были перечеркнуты, вышла фигурка, покрытая татуировками. Это было только начало. После этого оригами и написание текста превратились в единый процесс, в результате которого вокруг меня возник бумажный домик.

Дописав эту страницу до конца, я прикреплю лист к стене с помощью прозрачной клейкой ленты.

А может, и нет. Мне кажется, домику уже не нужны подпорки. Когда я гуляю по городу, он иногда возникает вокруг меня. Я стою и читаю то, что написано на стенах. Возможно, я читаю с закрытыми глазами внутри себя. Или я сам постепенно превращаюсь в ворох бумаг. Так или иначе, я не могу идти дальше, пока порыв ветра не разметает по асфальту текст, стоящий у меня перед глазами, пока он не превратится в одну из бумажных стаяк, блуждающих по ночному Манхэттену.

После порыва ветра вокруг ничего нет.

В доме напротив в единственном светлом окне медленно вращается вентилятор.

Первый этаж закрыт железным занавесом.

Облачное небо заползает под землю сквозь вентиляционную решетку метро.

По асфальту перемещаются обрывки газет, листки рекламы, салфетки, бумажные пакеты.

Палата мер и весов

СВИДАНИЕ

Прохоров посмотрел в окно на перекресток реки и трассы. Часть реки была по-прежнему скрыта от глаз широким мостом. Прохорову с некоторых пор стало казаться, что это — не окончательный вариант, что река и дорога играют, как ладони, накрывающие одна другую, и что однажды сверху ляжет та, что одета в серебряную перчатку. Он видел это во сне. Дорога была пустой, а по разлившейся речке плыли красные лодки. Но сейчас все было наоборот, трасса была сверху, по ней ползли караваны крошечных машин, связанных белой ниткой. Город, валявшийся внизу, был старым и рваным, сквозь истлевшую подкладку вылезли куски дыма. Прохоров набил портфель папками и пошел домой. Была пятница — день свидания, и это нытье собственного сердца было так некстати.

Переходя через мост, Прохоров остановился, засунул руку за пазуху и немного постоял так, глядя на плотину. С одной стороны река была ближе к небу и к Прохорову, чем с другой. Перед рыжеватым водопадом скопилась тьма предметов самого разного толка. Что только может держаться на плаву. С другой стороны плотины ничего этого не было. «Отпустило, — подумал Прохоров и убрал руку из-под мышки, — Андрюшу ко мне отпускает Ольга, а меня к нему — эта капризная, дряблая мышца. Но уже отпустило». Он увидел, что на остановке стоит трамвай, и кинулся к нему со всех ног.

Прохоров развелся с женой полгода назад и уже месяц как официально, но до сих пор не мог поверить, что всерьез. Ольга вскоре должна была выйти замуж, она говорила Прохорову, что ожила после развода, что так много изменилось. «Правда? Ты тоже чувствуешь?» — бодро спрашивала она. Прохоров кивал, хотя ничего он не чувствовал. Та же работа, тот же трамвай. Только ночует теперь у мамы, только «мышка под мышкой» (так он скалambuрил, когда впервые заметил это явление) сновала все чаще, прогрызая ход для потустороннего.

Они шли, взявшись за руки, одному было три, а другому сорок, одному непременно хотелось знать: «А куда мы идем?» — а второму это было настолько все равно, что он уже и не притворялся: «Никуда. Мы просто гуляем». — «А куда гуляем?» — «Никуда. В ни-ку-да, понимаешь, Андрей, смотри, какое облако». — «Какое?» — спрашивал Андрей. «Ушастое, на тебя похоже». — «Я не ушастый, это ты ушастый». — «Ты мой сын и, значит, тоже ушастый». — «Я — не твой сын и, значит, не ушастый». — «Это как?» — остановился Прохоров. Андрюша ничего не ответил. Прохорову показалось, что он закусил губку. Потом вдруг забежал вперед; обхватил папины колени, попросился на руки и неожиданно поцеловал колючую щеку. Прохоров почувствовал, что через кожу — там, где к ней прикоснулись Андрюшины губы, — хлынул поток, способный вытеснить то, что уже просачивалось в тело через сделанную мышкой скважину.

На земле лежали сережки, Прохоров старался идти так, чтобы на них не наступать, ему казалось, что это гусеницы. Они прошли по диагонали несколько дворов, пока Андрюше не надоело, и он завел Прохорова на детскую площадку — маленькое

островное государство, посыпанное песком. Андрияша подвел Прохорова к низкой перегородке, разделявшей весь мир на две части. Корабль и океан. На корабле стоял штурвал. Андрияша предложил папе быть рулевым, но тот отказался и остался стоять за бортом. К штурвалу стал Андрияша и потребовал, чтобы Прохоров тоже занял свое место на корабле. Там была скамеечка, на которую уселся Прохоров, сказав: «Ладно, я буду штурманом. Поплыли в Африку». — «Это же далеко», — сказал Андрияша. «Ничего, мы будем быстро плыть. Лево руля! Право руля!» Минуту он командовал, а потом замолчал. Андрияша не обратил на это внимания, он разговорился с собой. Прохоров прислушивался к бессвязному ангельскому лепету, в котором мелькали крокодилы, потом белые мишки, потом обрывки последней информационной передачи — что-то про землетрясение на Камчатке. Чирикали воробьи, скрипел штурвал и стучало сердце. Язык не поворачивался. Казалось, он завален каменными глыбами. Прохоров сидел, сильно ссутулившись, смотрел на песок, но видел что-то другое. Корабль качало. Прохоров с трудом поднял голову и понял, что она давно уже кружится отдельно. В глаза попало немного голубизны, и снова голова упала вниз, и в борт ударила большая волна. Океаном было сердце, оно невероятно разбухло, оно было теперь и внутри, и снаружи и состояло из множества потоков, и Прохоров чувствовал, что еще немного, и один из них подхватит его и понесет. Он цеплялся. Он шарил неподвижными руками и вдруг заговорил громким шепотом: «Андрияша, ты знаешь, где ты живешь, ты знаешь, где ты живешь, Андрияша...» — «Знаю. Колхозная, 20, квартира 130», — отчетливо выговорил Андрияша.

«131 — понимаешь — 131». — «131», — повторил Андрюша и поплыл дальше. «Пора домой», — сказал Прохоров, — домой, дом...» Слово «дом» оказалось дымным. Прохорова окутали облака.

Мяч завис в небе, потом ринулся вниз и упал прямо на спину сидевшего в лодке мужчины. Мужчина не шелохнулся. Кроме того, что-то в его позе показалось странным, и мальчишки, забыв про игру, медленно побрели к нему. «Эй, дядя!» — крикнул один. «Ноль внимания», — пожал плечами другой.

Женщина в белом халате протянула Прохорову сверток, показавшийся пустым оттого, что в нем не было весу, но, отвернув край конверта, Прохоров увидел глаза и понял, что ничего кроме этих глаз он больше не хочет видеть. Быстрыми шагами Прохоров обогнул ждавшую его возле роддома машину, свернул во двор, оказавшийся проходным, и, выйдя на другую улицу, пошел в непонятном пока направлении.

ПАЛАТА МЕР И ВЕСОВ

В нашей комнате появилась практикантка.

Ее посадили на место поверителя Егорова, но на следующий день он вернулся из командировки, и практикантка вынуждена была перебраться за другой стол. Тоже ненадолго, потому что через час пришел его хозяин.

И это продолжается до сих пор — практикантка перемещается по нашей комнате, как шахматная фигура.

Как будто у нас тут палата шахматной доски.

Эти ее перемещения и вообще движения как-то всех отвлекают, и меня в том числе, я забыл, что палата шахматной доски никак не связана с шахматами. Так называлось в средневековой Англии казначейство.

Но мы не в средневековье и не в Англии, а главное, никак не связаны с казной. И наша практикантка пересаживалась с места на место только до тех пор пока начальник вдруг не понял, что доски, лежащие в курилке, — не что иное как останки древнего стола. Мы с Волей перетащили их в нашу комнату, застучали молотками. «Ну вот, теперь у тебя есть рабочее место», — сказал через полчаса наш начальник, созерцая довольно-таки жуткий, весь в выбоинах и трещинах, и все же, несомненно, — стол.

Но через минуту возникла новая проблема. Оказалось, что стол некуда поставить. Перестановки продолжались целый день. Все время не хватало сантиметра—двух. Всех охватил нездоровый ажио-

таж, которого я не разделял. Уже был конец рабочего дня, но никто этого не замечал, все как с ума посходили и продолжали двигать по комнате столы.

Я встал и хотел уйти, но встретился с практиканткой взглядом. И тогда произошло что-то из ряда вон выходящее. Что-то громко скрипнуло, разъехалось, я быстро перевел взгляд на окно и понял, что оно стало шире. Когда я предложил свой вариант, все посмотрели на меня как на сумасшедшего — там явно не было места. Но когда мы вдвинули туда стол, он стал между соседними. Впритык.

Таким образом, практикантка оказалась сидящей спиной ко мне, к карте этого мира и к другой наглядной агитации, и лицом — к тому, что поверители называют не иначе как «город с высоты птичьего полета».

Спустя две недели. Она сидит, отвернувшись от окна, вполоборота ко мне, смотрит на поверителей. При этом взгляд у нее какой-то странный. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Да, — говорит она, — все в порядке. Просто я опаздывала и поймала тачку. Ну и этот тип стал приставать, не знаю, может, он и соврал, короче, еле от него отделалась... А сейчас я подумала: «А что если он сказал правду?» — «Что он тебе сказал?» — спросил я. «Он сказал, сколько он имеет в месяц». — «И сколько?» — «Я не могу тебе это сказать, — ответила она, — ты тогда не сможешь тут работать». — «А я тут и не работаю», — сказал я. «Все равно. Дай я успокоюсь. — Она прикоснулась к моей руке. — Я смотрю на них и думаю: они сидят и работают за деньги, которые этот парень зарабатывает за одну секунду. Или даже быстрее. То есть их как бы нет, понимаешь?» — «Как бы понимаю, — сказал я, — но в любом случае: они — это мы». —

«Нет, — сказала она, — нет, не в любом. Не в любом, не в любом, не в любом». Она повторяла это, как маленькая девочка.

«Похоже, что ты влюбился в эту пустышку», — сказал мне вчера наш начальник. Я ничего на это не ответил. Я и сам пуст. Я и сам не знаю, зачем я тут сижу. Иногда я выхожу из комнаты, иду в общежитие, которое стоит неподалеку. Курю там траву со студентом биофака. Такой вечный студент по имени Вольдемар, его часто можно встретить в городе, он ходит с коричневым саквояжиком весьма антикварного вида, в круглых очках без стекол. Встретившись со мной взглядом на улице, он кивнул головой куда-то вбок и сказал: «Пыхнем?» Я пожал плечами, и мы пошли к нему в общежитие.

Покурив, я какое-то время сижу молча.

Открыв глаза, я вижу аквариум. В нем нет рыб, на дне стоят шпорцевые лягушки. Лапки они держат перед собой, как будто делают упражнения цигун или что-то в этом роде. Периодически они оживают, всплывают к поверхности, вдыхают воздух, перемешанный с дымом, и возвращаются на дно. Я закрываю глаза и так сижу, пока не чувствую потребность немедленно выйти на улицу. Тогда я киваю студенту, студенткам, кто там в этот момент в комнате, машу рукой лягушкам и выхожу в очень грязный коридор, спускаюсь вниз и полчаса медленно брожу по улицам. Захожу в здание Института метрологии. Вахтер кивает мне и не спрашивает пропуск. Над ним висит плакат со словами Протагора: «Человек — мера всех вещей». Дальше идет красная доска почета. От нашего отдела на ней висят два человека — Северин, наш начальник, и Егоров, наш самый точный поверитель. «Человек — мера всех вещей», — повторяю я, поднимаясь на

лифте, — сухих, что они сущие...» Я захожу в нашу комнату, сажусь за стол, вставляю в уши беруши. Такие ватные тампончики, я покупаю их в аптеке, чтобы не слышать болтовню поверителей.

Мы пошли с ней вместе с работы. Она держала меня под руку, и мы медленно пробирались сквозь мир влажных расплывчатых пятен. Я шел без очков, потому что очки мне не идут. Положив их в карман, я доверился Лизе. Когда я увидел в небе круглое светлое пятно, я подумал, что это — полная луна, но Лиза сказала, что это — окошко под куполом Успенского собора. Я сказал, что хотел бы там жить. В маленькой комнате с белыми круглыми стенами. Лиза посмотрела вверх еще раз и сказала: «Туман такой, я сразу не заметила. Это — не окно, а циферблат». — «Значит, в комнате, где я хотел поселиться, находится часовой механизм», — сказал я.

Вчера Северину взбрело в голову выбросить плакат, который висел в нашей комнате. Плакат был пожелтевшим, но стенка под ним еще более плачевна — трещина, обвалившаяся штукатурка. Мне плакат нравился. Я помещу его здесь целиком.

основной задачей метрологической науки
является создание
нетленных и воспроизводимых эталонов

Ее любимый цвет — зеленый, любимый напиток — ананасовый сок, любимая марка машины —

«ягуар», любимое время года — бархатный сезон, любимый... Я читаю анкету, которую Лиза заполнила в журнале «Стрелец». Любимый тип женщины (по цвету волос) — брюнет... Ничего себе. А как же я? Может быть, это не она заполняла? Любимая компьютерная игра — тетрис. Значит, это — она. Она умеет быстро складывать падающие фигурки. Если она формирует из них сплошной слой, он проваливается, если что-то с чем-то не стыкуется, получается зазор, слой остается на экране. Когда таких застрявших слоев становится много, фигурки заполняют весь экран, и Лиза проигрывает.

Но она добилась фантастических результатов. Она чемпионка нашей комнаты, и вообще: среди знакомых мне людей нет равных Лизе.

В нашей комнате теперь часто слышно, как Лиза разговаривает с собой. «Лиза, соберись, — говорит она, складывая фигурки, — возьми себя в руки, Лиза, давай, вот так, вот так мы их, вот туда, туда. Лиза-а-а-а-а, что ты делаешь! Блин...»

Игра поглощает ее целиком. Даже во сне она продолжает играть. Я знаю это, потому что Лиза часто разговаривает во сне, и с тех пор как она заболела тетрисом, она говорит то же, что и наяву.

Ее отец подарил ей подержанный РС, и теперь грань между сном и явью совсем размыта. Я просыпаюсь ночью и слышу: «Лиза, давай...» При этом она может лежать в кровати, а может и в самом деле сидеть перед компьютером. В какой-то момент мне стало казаться, что это — болезнь. Я подумывал о том, чтобы показать Лизу врачу.

Произошло ЧП. Пропал Виртский. Коричневый пиджак в черную клетку продолжает висеть на спинке стула, и никто теперь уже не может вспомнить, сколько он висел, прежде чем заметили, что как-то давно нет Виртского.

Он вышел из здания и никуда не пришел. Ни домой, ни к друзьям, никуда.

Он не имел прямого отношения к поверочному делу. Так же как и мы с Волей. Мы сидим тут сбоку припека, представляя собой некий НИС. Никто давно уже не интересуется, что мы делаем. Виртский занимался специальными вопросами теоретической физики, я, как было сказано, ничем, Воля — чем-то вроде метафизической метрологии, но Воля заслуживает отдельного разговора.

При этом у Виртского катастрофически падало зрение, врачи не умели с этим бороться, говорили что-то маловразумительное. Линзы его очков за последние два года несколько раз утолщались, глаза были увеличены настолько, что выходили далеко за пределы лица. Но эта толща уже тоже не помогала. Особенно в сумерках. Виртский передвигался скорее интуитивно. Когда я шел с ним с работы, я вынужден был направлять его, взяв за плечи, иначе он мог ступить в яму или попасть под машину.

Я так и не смог войти в круг проблем, с которыми он жил, но даже попытка понять постановку задачи оказала большое влияние на мою картину мира. Был период интенсивного общения, начертания формул на салфетках.

Виртский был научным руководителем моего диплома.

Защитившись, я предстал перед его дверью с пакетами со спиртным и закуской. Довольно изощренной, потому что снаряжали меня родители бывшей жены, а они знали толк в салями. Виртский дары отверг. «Зачем нам с вами перенимать манеры у мясников и сантехников, которые посадили Брежнева на трон?» Он впустил меня на кухню, но не дал ничего развернуть. Мы пили чай, он рассказывал, откуда взялись уравнения, ставшие темой диплома. «Пришли вояки, — сказал он, — и попросили посчитать переходные процессы в приводе, открывающем люк ракетной шахты».

Я был удивлен — мне казалось, что такие вещи считают в других институтах, где нужна другая форма допуска.

«Да, но я же решал задачу в самом общем виде. Я написал уравнения, вы их решили, а вояки вообще больше не появлялись, может, забыли, может, сами посчитали. Так что вы можете быть абсолютно спокойны. Если вас вообще волнуют подобные вещи». После этого мы еще час примерно говорили о парадоксе Эйнштейна, Розена и Подольского — пока Виртский не посмотрел на часы и не схватился за голову. «Я опаздываю на свидание, — объявил он, — с собственной женой». На улице скороговоркой попрощался и побежал. Точнее, он стал совершать гигантские шаги. Но от земли при этом отрывались сразу две ноги — это был бег.

Его наиболее частое выражение: «Это легче понять, чем объяснить».

И еще: «Ошибка находится между ушей».

Сегодня утром Лиза сказала, что уходить из института мне пока что не нужно. «Что случилось?» — спро-

сил я. «Мы нашли тебе применение». — «Кто эти мы и какое применение?» — «Мы с подругой, с Нелькой, и с ее другом. Он очень серьезный человек». — «Я рад за него, — сказал я, — и за твою подругу. Но какое применение, о чем ты?» — «Нужно облучать иконы. Они тогда становятся древними, то есть кажутся древними, когда их проверяют особыми методами. Руслан говорит, что у вас в институте как раз этим занимаются». — «Чем у нас занимаются? Облучают иконы?» — «Эти методы, как их, радиометрические...» — «Это — не просто бред, — сказал я, — это — тяжелый бред — то, что говорит ваш Руслан. И это, по-твоему, серьезный человек». — «Руслан знает что говорит, — сказала Лиза, — иконы, то есть подделки, конечно, старят сначала обычными методами, во что-то макают, в землю закапывают. А потом, чтобы уже наверняка, — их облучают». Я рассмеялся, и больше к этому вопросу Лиза не возвращалась.

Но идеи стали мелькать одна за другой. Все я не вспомню. Из наиболее поразивших меня была перевозка куриного пуха с местных птицефабрик в Катманду. И доставка камней из желчных пузырей пациентов нашего города в город Антверпен. Да, и не забыть проломник козопольянский. Эта идея была как бы даже реализована. Лиза сагитировала часть отдела поехать на сбор семян. Другое дело, что никто ничего не собрал. Зато мы побывали на природе. Мы оказались на соляном плато в районе Волчанска. «Ну и где же твой проломник?» — спросил Егоров. Лиза пожалала плечами, все уставились на ботаника Синенко. Ботаник Синенко присел на корточки, скovyрнул комок мха и показал его нам. Это было для нас полной неожиданностью. Мы ожидали уви-

деть деревья, на худой конец кусты. Именно таким показался нам проломник козопольянский на картинке в атласе, который принесла в отдел Лиза. Она сказала, что килограмм семян проломника стоит три тысячи долларов. Теперь оказалось, что в атласе проломник был увеличен примерно в сто раз. После этого у Егорова, а вслед за ним и у всех остальных поверителей пропал всякий интерес. Вместо сбора семян мы загуляли. Выяснилось, что у нас для этого есть с собой все необходимое: водка, сухое вино, сухой спирт, замоченное мясо. Мы ушли с соляного плато, оставив там ботаника Синенко в совершенном одиночестве. Воля, ступая по проломнику козопольянскому, напомнил мне свое ущелье... Впрочем, этот анекдот я рассказывал в последнее время слишком часто, и вообще — Воля заслуживает не анекдота, а романа. Мы пировали на холмах. Оттуда краешек города казался маленьким и каким-то тщедушным. Собаки Веры Палны и Михаила Израилевича, почуяв вольный ветер Дикого поля, кубарем покатались по склону.

Ночью Лизе приснился проломник. Во сне он был не растением, а животным. Насколько я понял, единорогом.

Когда я проснулся, было так же светло, но день был другой. По числу я бы этого не заметил, но я помнил, что была среда, а теперь часы показывали четверг.

Четверг был похож на пологий серый холмик, который почему-то нельзя обойти.

Я выпил кофе и вышел на улицу.

Повсюду летал тополиный пух. На газонах он скапливался, там лежали матовые сугробы. Маль-

чик бросал в них горящие спички. Огонь метался, как натрий в воде. Навстречу мне шла женщина, с которой у меня когда-то что-то было. Поравнявшись со мной, сказала, что бежит. Я посмотрел на ее ноги. Они отрывались от земли поочередно. Я подумал, что она, возможно, работает медсестрой в инфекционной больнице. Но познакомился я с ней не там. Где? Это я не мог вспомнить. На бегу она успела мне сообщить, что в городе эпидемия болезни Боткина. «Ну вот, пожелтею, меня к тебе и свезут», — сказал я. «Ага. Значит, только так мы можем с тобой встретиться». Я не нашел, что на это ответить. Я еще не проснулся, — подумал я, — надо выпить еще кофе. Я зашел в кофейню, взял маленький двойной, но, увидев на чашке след чьей-то помады, вспомнил предупреждение О. (я наконец вспомнил ее имя) и пить кофе не стал.

У Лизы появился портативный тетрис, такой гейм-бокс, и теперь с ней невозможно поговорить ни в трамвае, ни на улице. На мои вопросы она отвечает невпопад, постель — единственное, что нас еще связывает, хотя отдается она мне тоже как-то машинально.

Проснувшись в комнате, заставленной ящиками, я вскрикнул.

Я попал внутрь тетриса. Я не поверил своим глазам и закрыл их.

Я вспомнил, что у Лизы в компьютере недавно появился трехмерный тетрис. Лиза заполняла шахту, уходившую как бы в глубь экрана. Кубы были нарисованы штрихпунктирной линией. Возможно,

я находился внутри куба и падал в шахту. Но при этом в кубе, как в матрешке, были меньшие кубы... Я закрывал и открывал глаза, говорил себе, что это — матрешечные сны, надо пройти все слои, всплыть на поверхность.

Но это не удавалось. Вокруг меня упорно громоздились штабеля ящиков цвета беж. Я приподнялся на локте и прочел записку, лежавшую на тумбочке:

«Это — компьютеры. Их привезли неожиданно, грузчики были, и мы тебя не стали будить. Их надо было срочно взять, потому что цена была ниже, чем это где-то бывает. «Подъем» должен быть фантастический». «Не стали будить», — повторил я, и ушел в отпуск за свой счет, и стал ездить в районные центры, чтобы сбывать там персональные компьютеры «желтой сборки». Впрочем, таких слов там никто не знал. Директора самых разных учреждений (дворцы культуры, детские садики, райсобесы, ЛТП и т. п.) ставили их в свои кабинеты, я инсталлировал некоторые программы, в основном игры. Тетрис был обязательной программой. Покидая очередной кабинет, я краем глаза видел, что на экране уже падают розовые фигурки. Так замыкался этот круг.

Сначала я ездил в купейных вагонах, потом стал чередовать их со спальными. Компьютеры ездят в багажных. Кочевая жизнь не слишком угнетает меня, скорее наоборот. Я избавился от вариаций на темы Лейбницева монадологии, которые занимали меня последние годы.

На смену им пришла номадология*.

Лиза заставила меня купить контактные линзы.

Сама она тоже носит линзы, я это заметил после двух месяцев нашего знакомства.

* Номады — кочевники.

Надев линзы, я увидел мир ее глазами. Я вижу все надписи, все ценники в магазинах, я вижу, кто чего стоит.

В Энск я ехал в плацкартном вагоне, все места в купейных и спальных были раскуплены. Не помогли даже Лизины связи в кассах предварительной продажи. Поезд остановился, в вагон вбежали женщины в коричневых пальто и быстро заставили пустые полки ящиками с фруктами. Или овощами. Это произошло мгновенно. Еще какое-то время я слышал, как ящики переставляют, вот так, вот так влезет, а этот сюда, правильно, а этот... Я вдруг увидел Виртского. Он шел под руку с незнакомой мне высокой женщиной в красном платке и темных очках. Я не знал, окликнуть его или нет. Они сами вдруг резко свернули и пошли к моему подъезду. Я забежал в комнату, потом вернулся на балкон, хотел перелезть к соседям... И вдруг остановился. Получалось, что я похоронил Виртского. Я подумал, что хоронить человека всегда нечестно, но в случае, когда нет трупа, это нечестно вдвойне. Они позвонили, я открыл дверь и предложил им коньяк. Откуда-то у меня нашлись бокалы размером с человеческую голову. «Ваш пиджак тоже продолжает висеть в комнате, — сказал Виртский, как будто прочитав мою мысль, — представьте себе. Поверители их используют — и мой, и ваш. Когда в течение дня температура на улице резко падает. Иногда и при колебаниях комнатной температуры». — «Вы что-то путаете, — уныло сказал я, — у меня ведь пиджака никогда и не было». Его почему-то обидели эти слова. «Да что с ним говорить, — сказал он, — если у него и пиджака-то никогда не было». Женщина взяла его под руку, и они вышли за дверь. Я хотел их остановить, но вдруг понял, что лежу на полке.

На других полках лежали ящики с персиками. Меня теперь все время окружают какие-то ящики, это теперь мой новый мир: Орбис тетраус.

Справившись с делами, я зашел в кафе и взял себе двойную порцию пельменей. За соседним столиком сидел рыжий бородач в свитере крупной грубой вязки. Алый шарф. Он никак не вписывался в обстановку этого трактира и вообще городка. Он что-то раскладывал на поверхности стола, вид у него при этом был серьезный, он щурил глаза. Присмотревшись, я увидел, что перед ним лежат желтые буквы. Встретившись со мной взглядом, он ответил на немой вопрос. «Я их продаю», — сказал он.

«Я разгадал тайну продавца букв», — записал в свой московский дневник Вальтер Бенъямин. Буквы, продававшиеся с лотка, предназначались для пометки галош. А те, что лежали на столике передо мной (я подсел к рыжему, и мы выпили по сто за знакомство), должны были послужить для других целей. Их надо было наклеить на таблички, а таблички развесить по дверям и стенам разных учреждений. На столике он просто прикидывал, как будет выглядеть доска для фасада какого-то чуть ли даже не министерства. «Наглядка, — пророкотал продавец букв, затягиваясь «Ватрой», — вторая по древности профессия после фотоволыны. Сейчас, в связи с перестройкой, она довольно-таки неплохо кормит, хотя видны уже и признаки истощения рынка. Да и брата нашего развелось немерено, всюду встречаю мальчиков с табличками. В приемной директора нас бывает одновременно двое. Очередь. Надо думать о другом поприще. А ты чем промышляешь, если, конечно, не секрет?» — «Я в командировке, — сказал я, — на-

страиваю весы и другие разные приборы». — «Да ну? — сказал Валерий Борисович. — Ну давай еще по сто. На тебе на память табличку, это брак, посмотрим, какую ты вытянешь». Я вытянул из его брезентовой сумки табличку со словами «Забор крови». «Что это значит?» — спросил я. Он объяснил, что на жаргоне медиков это означает «лаборатория, где берут кровь для анализов». «Хочешь, другую возьми, у меня их с десятков, по дороге краска слезла кое-где, вот и не взяли, в следующий раз довезу. А вообще-то я ими пишу роман, понял, — еще по сто! — крикнул он официантке, — если ходить по учреждениям по плану, который только мне пока известен, то прочтешь... Не веришь? Вот смотри, — сказал он, потрясая перед моим лицом ученической тетрадкой, — можешь взглянуть. Ты будешь первый из смертных, кто это увидит». Я взял в руки тетрадь. На обложке были маслянистые пятна. Было написано: «План путешествия по Золотому Кольцу».

Конечно, это был не план текста, а сам текст.

В то утро я проснулся с твердым знанием того, что я, Валерий Борисович Карякин, умер. Я разглядывал свои руки, невесомо плававшие над лицом, потом пропустил взгляд сквозь пальцы, и он заструился по потолочным обоям в крапинку, по настенным в цветочек, по шторе, которую прикусила балконная дверь. Я умер во сне, такое бывало со мной неоднократно, но в таком сне — никогда. В этот последний входили все тридцать пять лет моей жизни. Я встал и прошелся по лжекомнате. Под ногами хрустел сахарный песок, запас которого при жизни давно был исчерпан. Впрочем, возможно, это был и не сахар. Я наклонился, провел пальцем по полу и попробовал палец на

вкус. Да, это был сахар. За окном мне, вероятно, предстояло найти молочные реки, но до окна я не дошел, потому что третьим по счету (после зрения и вкуса) включилось обоняние. Я зажал нос двумя пальцами и стал искать источник. Я обнаружил его в Марининой тумбочке — там стояла банка с серой жидкостью, в которой мелькали крохотные рыбки. Происхождение рыбок было мне неизвестно, но и не удивительно, я о чем-то подобном догадывался еще в жизни, слыша периодически какую-то вонь. Неужели у нас в комнате жили рыбки? Почему Марина скрывала их от меня? Четвертой по счету включилась Марина. Она спала возле стенки, вжимаясь в ковер, как бы пытаясь стать частью его орнамента. Я поспешил предотвратить этот процесс, отвернул ее от стены и сказал:

— Марина, что с тобой? Почему ты не идешь на работу?

— Я сплю, — сказала она, улыбаясь, — понимаешь, я сплю-ю-ю-ю-ю. — И отвернулась к стене.

— Понимаю, — сказал я.

Я пошел на кухню и принес оттуда банку с чистой водой. Потом еще одну. Пустую. Накрыв носовым платком и стал переливать в нее рыбий ад. Рыбки заплясали в платке, я ловил их пальцами и бросал в банку с чистой водой. Потом я долго сидел на полу, переводя взгляд с мутной банки на прозрачную и обратно. Рыбки радостно обследовали новую воду. Потом движения их стали более плавными. Наверное, точь-в-точь как по старой банке. Что же мешало мне последовать их примеру? Почти ничего. Смешно сказать. Застрявшая в голове мысль о собственной смерти. Я решил пойти на работу. На улице я полез в карман и достал оттуда несколько смятых бумажек. В первой мне сообщалось, что я толь-

ко что был сфотографирован. Во второй напоминалось, что я попал под сокращение. Остальные две были рублями...

— Ну как? — спросил автор текста, увидев, что я закрыл тетрадь.

— Нормально, — сказал я.

— Это — малые формы, — сказал он, — а табличками я пишу гипертекст. План в конце тетради. Я кивнул и попросил принести еще по сто.

На привокзальной площади стояли огромные ледяные скульптуры. Слоны, лошади, химеры, персонажи «Золотого ключика». Я слышал об этом фестивале ледяного искусства в одном из кабинетов, которые я компьютеризировал. Я провел в Энске без малого месяц. Валера успел за это время два раза смотаться туда и обратно, отабличить огромные корпуса новой городской больницы. Я привык пить с ним водку в тихих пустых столовых. Прочел несколько его тетрадок. Кусок, который я привел выше, оказался лучшим, дальше шли довольно банальные рассуждения, напомнившие мне Волины юношеские опыты. «Мир как Воля и представление» и все в таком духе.

Проснувшись, я приподнял коричневый дерматин и увидел в окне состав, груженный белыми танками. Молодоженов, с которыми мы пили накануне, в купе уже не было. Я вспомнил, что они должны были пересесть в другой поезд. На верхней полке лежал мужчина, укрытый простыней. На столике сто-

яли стаканы, лежала начатая шоколадная плитка и табличка, буквами вниз. В окне проплывали белые танки и бронетранспортеры. Мужчина проснулся и слез с верхней полки. «Что это значит?» — спросил я, показав на окно. «В Чечню», — сказал он. «Но почему они белые?» — спросил я. «Их с Заполярного округа перебрасывают». Встретившись с моим удивленным взглядом, он сказал: «Вот так. И я туда же. Я — полковник железнодорожных войск. — Он взял в руки табличку, которую подарил мне Карякин, постучал по ней пальцем, потом перевернул и прочел вслух: — «Забор крови». — «Это для лабо...» — начал было я, но он поднес палец к губам, и я замолчал, а он приставил табличку к оконному стеклу.

Лиза за этот месяц успела сделать в моей квартире ремонт. Обои, плитка. Она осуществила свою давнюю мечту — огромное зеркало над кроватью. «Это, конечно, не евроремонт, — сказала она, следя за моей реакцией, — но и не совсем азиатский, да?» — «Все хорошо, — сказал я, — вот только зеркало на потолке... Это кич». — «Я уже поняла, — сказала Лиза, — все, что я делаю, все, что я говорю, — кич». — «Теперь представь, что все это умножается на два». После этих слов Лиза хотела уйти навсегда, но я ее не пустил. В зеркале некоторое время отражалось что-то похожее на схватку борцов вольного стиля: посадка, обратный вылаз, перевод в партер, двойной нельсон.

Ночью я долго не мог уснуть. Зажигал ночник, пробовал что-то читать, опускал книгу, смотрел, как на потолке ворочается мое отражение. Выключал свет, и тогда надо мной нависал черный омут. От этого кружилась голова.

Иногда там появляется свет дальних фар.

Периодически я захожу в институт, пью чай с поверителями. В нашей комнате все по-прежнему, только еще более шумно. Из института происходит утечка мозгов — народ разъезжается по границам. И только из нашей комнаты никто пока не уехал. Все-таки что-то есть в нашей комнате! Многих нет на работе, но это из-за гриппа.

Гиппократ считал, что во время насморка из носа вытекает мозг.

В этом смысле — утечка.

О Виртском нет никаких известий. Пиджак его по-прежнему висит на стуле. Так решили поверители.

Увидев Волю под Градусником, я испытал ощущение, которое трудно передать словами... Разве что вспомнить анекдот о том, как Воля попал в Институт метрологии.

В детстве родители каждое лето возили Волю к морю. Всегда в одно место — поселок Элское. Когда Воле было восемь лет, местные показали ему тропинку, ведущую в горное ущелье. С тех пор Воля стал в этом ущелье пропадать. Ущелье нравилось ему больше, чем море, которое к полудню превращалось в мутный тепловатый рассол. В ущелье всегда было прохладно, вода была прозрачная и быстрая. Там, где она замирала, возникали маленькие темно-зеленые озера. Раз в лето туда ходили с Волей его родители. Отец делал на стволе дерева засечки, как дома на дверном косяке. Потом Воля перестал ездить на Кавказ. Студентом он предпочитал Север, байдарочные походы по Карелии и Литве. Только после пятого

курса Волю потянуло в места детства. Он приехал в Элское, пошел в ущелье и встретил там людей, которые напоили его «молоком». «Молоко» было зеленым, густым и все-таки жидким, у Воли была жажда, он не знал, что пьет, и выпил целую кружку. После этого он взял с камня, служившего столом, чужой нож и пошел к дереву. «Эй, ты куда?» — крикнул парень. Видя, что Воля стал к дереву спиной и заносит над собой нож, парень подскочил к нему и схватил за руку. «Ты — не один», — сказал он, глядя Воле в глаза. Или: «Ты не Один». Воля сказал, что хочет сделать отметку своего роста. Парень рассмеялся, но Воля указал ему рукой на засечки, и он присвистнул. Воля поцарапал дерево у себя над макушкой, вернул нож, сказал «До свиданья» и пошел. Компания смотрела ему вслед с уважением. На обратном пути, где-то между третьим и вторым водопадом, они нашли Волю припавшим к каменным складкам. Ущелье в этом месте было очень узким, стены нависали. Это была почти что пещера. И Воля застрял у входа. То есть ему показалось, что он застрянет, если пойдет дальше, потому что по дороге он начал расти. Каменное влагище долго не пропускало, а потом, при помощи «молочных братьев», на свет появился каменный Воля. И таким он был две недели. На распределении, услышав, что можно пойти в Институт метрологии, немедленно изъявил желание. Декан удивился — Воля был первым в списке и мог пойти, скажем, в Институт низких температур, где в то время действительно занимались наукой. Но Воля был непреклонен. Он сказал: «Метрология — это мое».

Увидев Волю под Градусником, который висит на фасаде Дома торговли, я вспомнил эту историю.

Мне показалось, что я вижу ее продолжение. Красные отметки светились в сумерках на фоне серого фасада, это было красиво. Градусник был огромен, и при этом нижний край висел прямо над козырьком, под которым стоял Воля. Шел дождь, под ногами была слякоть, в ней попадались комки снега. На Градуснике было +25 °С.

— Он не работает, — сказал Воля, — зачем горит? Для красоты. Люминесценция.

— Ты кого-то ждешь?

— Тебя. Ты не хочешь поменять доллары? Или марки?

— Ты решился?

— Ну да, а что делать. Холодно, правда. Захожу в институт погреться. Я не увольнялся, даже отпуск не брал. Пойдем, сегодня уже все равно ничего не будет.

— Это неожиданно. Это надо осознать.

— Пойдем осознавать. В «Русский лес».

Мы выпили водки, я сказал Воле, о чем напомнили мне деления Градусника.

— Ну да, тайный рост... — улыбнулся Воля.

— Как в пещере.

— Там было другое... Я недавно понял, что поменялся там местами со своим членом.

— Ты охуел?

— Можно и так сказать. Мое тело все стало пещеристым. Я стал пещерным человеком. Ну, а дальше ты читал у Платона: вышел, вошел, сказать нечего...

— А что член?

— А что член?

— Ну, с ним что стало? Встает? Или он уже стал разговаривать?

— С ним все в порядке.

— Он стал разумным?

— Во всяком случае, умнее меня. Я, знаешь ли, глупею не по дням. Ты же видишь. Это было и раньше, а теперь, занимаясь целый день устным счетом, я вообще стал бояться инволюции.

— Нет, я тебя уверяю, что твои опасения...

— Ты — тактичный человек. А врач ухо-горлонос, к которому я обратился по поводу болей возле глаза и в виске, сказал, что у меня растут жабры. Придя домой, я открыл медицинскую энциклопедию и понял, что врач был не совсем сумасшедший. Но я был уверен, что так далеко процесс зайти еще не мог. Я пошел к другому врачу. Он сделал рентген и сказал, что у меня фронтит. Гной в лобной пазухе. «А жабр нет?» — спросил я. Он рассмеялся. «Нет, но гниете вы, как рыба — с головы». Классическим методом лечения была трепанация. Я отказался от этого наотрез. Я пошел к третьему лору. Мне сказали, что он изобрел собственный метод, отличающийся от классического. Это оказалось правдой, третий лор ужасно мне обрадовался: как раз я-то и был ему нужен. Суть нового метода состояла в том, что кость не пробивалась, а тихонько отодвигалась клинышком, вставленным в нос. Туда просовывали трубочку, и сквозь пазуху пропускали жидкость с антибиотиком. Во время этих процедур в голове у меня сильно булькало.

— Может быть, тебе на самом деле делали промывку мозгов? Это, конечно, лучше, чем лоботомия, которую тебе предлагали...

— Не надо искажать факты. Это был лор. Ухо-горлонос. Я был темой его диссертации «Исследо-

вание одного типа...», дальше не помню. Он показывал меня на семинарах. Я был подвешен вниз головой, из носа у меня торчал перископ, участники семинара подходили по очереди и в меня заглядывали.

— Наверно, это было не очень приятно? Или твой внутренний эксгибиционизм...

— Все лучше, чем дырка во лбу. Я представлял себе, как бы тот, второй лор ее пробивал, вооружившись молотком и долотом. Кроме того, он мог объединиться с первым лором, и, пока я был под наркозом, они пробили бы еще две дырки по бокам головы.

— Зачем?

— Жабры! Чтобы показывать меня на международных симпозиумах. Как пример человека-амфибии.

— У Чжуан-цзы есть притча о Хаосе, в котором Владыки Океанов решили проделать отверстия для ушей, глаз, носа и рта. В день они делали по дырке. На седьмой день Хаос умер. Но промывки мозгов вовсе не убили хаос, живущий в тебе, ты меня в этом убедил.

— Еще водочки?

Я лежал на боку, сжатый с двух сторон спящими солдатами. На мне тоже была солдатская форма. Я встал на ноги и увидел, что на нарах лежат бочком десять человек. Мое место было моментально заполнено расширившейся зеленой массой. У меня болел живот, и я не видел нигде туалета. Сержанты сидели на полу, перед ними были разложены огурцы и крутые яйца. Один из них разливал самогон из железного бидона в желтые наперстки. Спрашивать у них было неудобно, они ели и пили. Все же я спросил. На меня уставились стеклянные глаза.

«Сри на лету». Мне больше ничего не оставалось, как выполнять приказ. Когда я поднялся с корточек и стал застегивать штаны, один из сержантов подошел ко мне и глянул за край вагона. «Посмотри, что ты сделал», — сказал он. Я оглянулся и увидел кучу. Она была большая и напоминала замок из песка. На щебне лежало несколько листиков из моего блокнота. «Поезд остановился, — сказал я, — что я мог поделаться». — «Иди теперь убирай за собой». Я спрыгнул на щебень. Поднял веточку. Подцепил кусочек, понес его к кустам. Обернувшись, я увидел, что поезд поехал. Я стоял в высокой траве, товарные вагоны кончились, мимо проезжали открытые платформы с пушками. Я пошел по пустой пыльной улице мимо домов с закрытыми ставнями. На детской площадке стояли качели. Я сел на досточку, толкнулся ногами и попал в чьи-то руки. Вокруг были военные. «You know, the whole universe consists of two things, — сказал офицер, — of the bull-shit and nothing*». Он махнул рукой. Я увидел поднимающиеся стволы автоматов.

— Это очень хорошо, — сказала Лиза, — говно снится к деньгам. Прекрасный сон, как раз когда решается вопрос с кредитом...

Она лежала на спине и разговаривала с моим отражением. Я еще не проснулся, я не помнил, чтобы я рассказывал ей свой сон. Может быть, я снова уснул, на мгновение. Лиза показалась мне вдруг похожей на юродивую из «Андрея Рублева». Это было неожиданное сравнение. Я вспомнил, что ее

* Знаешь, у мироздания только две составляющие... дребедень и ничто (англ.).

(юродивую) должна была играть Маргарита Терехова, но, прочитав сценарий, отказалась. Не хотелось писать в кадре. Потом жалела — где-то я читал об этом.

— ...очень осторожно, ты знаешь, какой откат бывает с таких кредитов, ты знаешь, что Полищука возили в закрытом багажнике, потом закапывали в могилу...

— Погоди, погоди. Полищук ведь жив?

— Ну да, он вылез. Они его для острастки закопали. Он вылез, поймал такси, влез в машину весь покрытый землей, водитель...

Зазвонил телефон, стоявший на Лизиной тумбочке. Лиза взяла трубку и радостно завизжала. Я зажег сигарету и пошел на балкон. Глядя на бетонные коробки, я подумал: а что если перестройка пойдет по вертикали? Если в городе вырастут небоскребы?

Они будут похожи на штабеля из фигурок тетриса, заполняющие экран в конце игры.

Пока что все проваливается.

Конструктивисты немного поигрались, ушли, а с неба продолжали падать эти бетонные чемоданы. Их составляли в ряды, и они уходили в землю, слой за слоем.

Под землей каждый жилец получал ту же пятиэтажку или шестнадцатизэтажку. То, в чем он жил на поверхности. Только теперь он там был один.

Потом пришли деконструктивисты.

«А читал ли ты Валентина Поленина?» — спросил меня Егоров, когда я вернулся из очередного Энска и зашел в институт. «Читал», — сказал я. «А что ты читал?» — «Не помню. Кажется, «Синонимы смер-

ти». Или «Омонимы». — «Это же когда было, — сказал Егоров, — ты почитай его последний роман — «Трудно не быть богом». Это сейчас хит номер один». — «Название мне что-то напоминает», — сказал я. «Ну да, ну да. Но этот Поленин все перевернул вверх дном. Он совершил революцию, поменял местами субъект и объект...» — «Мне казалось, что это сделал Кант?» — «Да что ты со своим Кантом», — недовольно махнул рукой Егоров. Он был гегельянцем и Канта недолюбливал. «Но в чем революция?» — спросил я. «В сознании», — сказал Егоров. «Очередной крышесрыватель?» — предположил я. «Не скажи. Соню вот, к примеру, эта книга вылечила». — «Что, она больше не богиня?» — «Представь себе. И вообще, с ней теперь можно говорить. Сам увидишь. И это все — книга Поленина».

Подруга Егорова попала в сети эзотерической организации. Секта проповедовала конец света. Егоров боялся, что все кончится коллективным самоубийством. Соне там помогли вспомнить, что было с ней до ее рождения. Лиза чуть было не пошла по ее стопам. В секту она не вступила, но то, что было до нее, — вспомнила. Видя мой скепсис, она перестала об этом рассказывать. Впрочем, вот эти ее воспоминания о собственном зачатии кажутся небезынтересными, они проливают хоть какой-то свет на эту загадочную сущность.

Лиза помнит, что была зима. Самая снежная зима за последние 100 лет. Сугробы были намного выше, чем она. Взрослые пригибались, неся телевизор от машины к парадному. Лиза в белой кроличьей

шубке пыталась им помочь, над ней смеялись, все были в приподнятом настроении. Коробку внесли в гостиную, поставили в центре комнаты на ковер. «Дима, Оля, вы не представляете, какое это качество! Принципиально новая система, — объяснял дядя, — такого еще не было. Сейчас вы убедитесь. Завод работает целиком на космос, это так для них, ширпотреб, игрушки. Но для нас...» Больше Лиза ничего не слышала. Потому что когда упали картонные стенки, там внутри оказалось... Оказалось, что внутри коробки — не что иное как... сама Лиза. Маленькая девочка в розовом костюмчике стояла в центре распавшейся картонки и смотрела оттуда... Лиза вскрикнула. Оглянулась по сторонам. Никто кроме нее ничего не заметил, взрослые о чем-то спорили, собравшись в кружок, и теперь Лиза стояла на картоне и смотрела на девочку, которая выглядывала из-за шкафа... Лиза побежала к ней, но наткнулась на огромный холодный экран... Никто ничего не заметил. Это была теперь ее тайна, она с ней ходила в детский сад, потом в школу и в институт. Пока я ее не разгадал, глядя в потолок.

Вчера я наконец познакомился с Полищуком. Полищук занимается «обналичкой», или «налом», нам его посоветовал Воля. Контактировала с ним до сих пор только Лиза. За столом сидел мужчина с хвостиком, в роговых очках, он что-то писал, и когда я вошел, жестом попросил меня подождать. Указал, опять же не глядя, на черное кожаное кресло. Я стряхнул с сиденья хлебные крошки, сел, оглянулся по сторонам. Подвальчик имел довольно-таки жалкий вид. Как бы даже нарочито. Маскировка, — подумал я. И даже светомаскировка — на окне висе-

ли жалюзи. При этом они были новенькие, блестящие и резко диссонировали с прочей рухлядью. Я спросил разрешения их поднять. Полищук не глядя кивнул, моя просьба его не удивила. Или он ее не расслышал. Я покрутил граненую стеклянную палочку и увидел женские ноги. Только женские и только в чулках. Цокали каблучки. Я сидел, замороженно глядя... Я поймал на себе взгляд Полищука.

— Как гигантское членистоногое, — сказал я, чтобы что-то сказать.

— Член и стоногое, — неожиданно проговорил Полищук. Я смотрел на него, ожидая, что он еще скажет. Наверно, «я телом бел, я калом бур», — подумал я и ошибся.

— Стоногое, — сказал Полищук, — потому что у меня было всего примерно пятьдесят женщин.

— Вы подогнули это число к ответу, — сказал я.

— Можно на «ты». Нет, я на самом деле посчитал. Хотя, конечно, нет ничего глупее этого списка. Я включил туда и свою бывшую жену, и, скажем... Но вот что интересно — все это и началось с членистоногого. А именно с тарантула. Я поймал его и подбросил своей однокласснице. Ты не ловил возле школы тарантулов? Ты меня не помнишь, я учился в параллельном классе. 46-я школа, да?

— Да. И я ловил тарантула. С помощью нитки, на конце которой был пластилин.

— А у меня оконная замазка. Ну и что, у тебя получилось произвести впечатление?

— В общем, да. Она испугалась, пищала. А через день мы пошли вместе домой после уроков.

— У меня все было немножко иначе. Я тебе расскажу, как это было, и пойду. Мне надо срочно съездить на таможню, когда я приеду, нал уже будет. Подождешь? Короче, Инна была в тот день

в синих колготках, военрук чуть не отправил ее с урока домой. «Какой-то Холливуд, — сказал военрук, — шоб этого не было». Во время урока истории я достал из портфеля майонезную баночку, открыл ее и выпустил тарантула на волю. Она не закричала, она вначале реагировала удивительно спокойно. Тарантул забежал на ее руку, соскочил. Инна встала и пошла между рядами. Потом легла на пол и стала совершать какие-то страшные движения. Никто никогда не видел ничего подобного. Голова ударялась об пол. Весь класс замер. Я тоже, при этом мой ужас был несравним с общим, я решил, что тарантул был ядовит, что он ее ужалил.

— А что это было?

— Припадок, — сказал Полищук, — эпилепсия. Никто не знал. Вот так вот первый раз я вызвал у женщины судороги.

Я хотел спросить его, правда ли, что его закапывали в могилу. И не с помощью ли нитки с замазкой его оттуда вытянули? Но я не спросил. Полищук ушел, я остался в подвальчике в компании двух хмурых «баронов шахматной доски». Один из них, то ли от скуки, то ли для понта, начал разбирать и собирать свой пистолет.

Маршрутное такси ехало по проспекту Правды, в окне плыло здание Института метрологии. Такси завернуло, стала видна другая грань здания, в одном из окон на десятом этаже горел свет. Это было окно нашей комнаты. Я попросил водителя остановиться. Через минуту я уже входил в институт, поднимался на лифте. Человек, сидевший за столом у окна, подскочил, резко обернулся... Лысая голова, очки на тесемочках... «Что вы здесь делаете? —

спросил я. — Ведь вас же здесь нет!» — «Может быть, нет как раз вас? А я здесь работаю». — «Над чем вы здесь работаете? И почему вы скрываетесь?» — «Разве я скрываюсь? — спросил он. — Нет, по-моему, тут какая-то путаница. Я совсем не скрываюсь, а вот вы почему-то избегаете смотреть мне в глаза. И этим напоминаете человека, который что-то украл. Ну давайте взглянем Правде в глаза». Я с ужасом понял, что его глаза — два комочка незастекленного мира. Виртский вернулся к своему столу. Сделал из исписанного листика самолет и бросил его в окно. Самолетик стал летать по кругу. Мы молча наблюдали за ним, а потом Виртский запрыгнул на стол. На ногах у него были коньки, он шагнул к окну и, оказавшись снаружи, быстро заскользил по амальгаме в направлении крыши ВНИИчерметочистки...

— Чьи это трусы?

Я открыл глаза и увидел себя в зеркале, рядом была Лиза, она держала над моим лицом маленькую красную тряпочку. Я надел очки и заметил, как что-то промелькнуло по зеркалу от угла в сторону балкона, тень конькобежца или ветка дерева, на улице ветер... «Где ты их взяла?» — спросил я. «В кровати! Вот здесь, между матрасами...» — «Я не знаю, — сказал я, — но я думаю, что это знаешь чьи трусы? Помнишь, я уезжал в Саратов, ты одновременно в Челябинск, мы давали Воле ключи? Помнишь, ему надо было куда-то деться с этой Викой...»

Иногда я встаю, выхожу из комнаты, иду в общежитие, которое стоит неподалеку. Курю там траву со студентом биофака. Такой вечный студент по имени Вольдемар, его часто можно встретить в го-

роде, он ходит с коричневым саквояжиком антикварного вида, в круглых очках без стекол.

Покурив, я какое-то время сижу молча.

Открыв глаза, я вижу аквариум. В нем нет рыб, на дне стоят шпорцевые лягушки. Лапки они держат перед собой, как будто делают упражнения цыгун или что-то в этом роде. Иногда они всплывают к поверхности, вдыхают воздух, перемешанный с дымом, и возвращаются на дно. Я закрываю глаза и так сижу, пока не чувствую потребность немедленно выйти на улицу. Тогда я киваю студенту, студенткам, кто там в этот момент в комнате, машу рукой лягушкам и выхожу в очень грязный коридор, спускаюсь вниз и полчаса медленно брожу по улицам. Захожу в здание Института метрологии. Вахтер кивает мне и не спрашивает пропуск. Над ним висит плакат со словами Протагора и красная доска почета. От нашего отдела на ней два человека — Северин, наш начальник, и Егоров, наш самый точный поверитель. «Человек — мера всех вещей, — повторяю я, поднимаясь на лифте, — не сущих, что они не сущие...» Я захожу в нашу комнату, сажусь за стол.

Ко мне вдруг поворачивается сидящий впереди Михаил Израилевич. Я вынимаю беруши из ушей.

— У Воли есть внутренняя жизнь, — говорит Михаил Израилевич, — вы посмотрите на его лицо.

Я смотрю на Волино лицо. Глаза его закрыты. В ушах — наушники. Слышна микроскопическая музыка.

— А у нас? — осторожно спрашиваю я Михаила Израилевича.

— А у вас нет! — говорит он. — Потому что вы как-то весь разбрасываетесь, посмотрите, что у вас на столе делается.

Егоров смотрит на часы и встает. Подходит к шкафу, протягивает руку к репродуктору. Поворачивает ручку громкости до упора. Беруши теперь не спасут. «Начинаем производственную гимнастику!» — говорит голос, похожий на голос Левитана. Звучит браурная фортепианная музыка. Егоров марширует на месте. Расталкивает воздух локтями. «Раз-два-три...» Мне снова кажется, что все это галлюцинация. Что я на самом деле сижу у Вольдемара в общежитии. Я встаю и иду в туалет. Курю, глядя на окно, замазанное белой краской. На стекле выцарапаны буквы, сейчас они голубые. Написано с другой стороны. Рядом со мной стоит начальник. «Я уже лет десять не был в кино», — говорит он. «Ну и что, — говорю я, — сейчас мало кто ходит. Все смотрят телевизор». — «Я и по телевизору не могу фильмы смотреть», — говорит Северин. «Почему?» — «Через пять минут я знаю, куда все это идет, чем кончится. Мне становится неинтересно». — «А вы не пробовали смотреть фильмы без сюжета?» — «Так это же муть? Ладно, хрен с ними. Надо убрать со стола все бумаги. Через пять минут придет пожарная комиссия», — говорит Северин, и мы выходим из курилки. «Как-то пусто вокруг», — говорю я. «Завтра же праздник, — говорит Северин, — сегодня короткий день. Фактически его уже нет». Нигде ни души. Я пробую двери других комнат, они закрыты. «Все давно ушли, а про нас забыли, — говорит Северин, — комиссия прошла мимо нас, а может, и нет теперь никаких комиссий. О нас забыли, а мы не разбежались. Тихо себе сидим и даже работаем».

Я говорю: «Все-таки что-то есть в нашей комнате!»

«Не говори», — улыбается Северин.

ГОРОД-ГЕРОЙ

Глава 1

— Ты понимаешь, что это — рай? Ты представляешь, что сейчас делается в городе? Духота такая, что люди в обморок падают, пыль...

— Ты должна забрать меня отсюда, — повторил он. Ему было девять лет. Его еще можно было отвлечь, убаюкать. Когда он очнулся, мама шла по тропинке за воротами лагеря. Мальчик понял, что его опять обманули, и метнулся к воротам, но его остановили дежурные. Он разрыдался. Вожатая взяла его за руку и молча повела к ряду умывальников, похожих на сосцы вскормившей Ромула и Рема волчицы.

Во время тихого часа он лежал на спине и смотрел на Белое Безмолвие. Санный след обрывался, не доходя до пятна обвалившейся штукатурки. Потолок в радиусе тысячи километров был выучен наизусть. Спать не хотелось. Почти. Так же как не хочется пить в воде. Он встал, тихонько оделся и вышел за дверь. Там было солнце, и все было горячим; скамейка, на которую он думал сесть, обожгла ноги. Он медленно побрел по территории. На асфальтовой площадке на минуту задержался. Как раз там, где мелом нарисованы стрелки. Сейчас мне показалось, что это векторы сил, приложенных к телу. Маленький, печальный, он пошел дальше — вместе с короткой (тихий час сразу после полудня) тенью, которую я со стороны принял было за равнодействующую.

Он проходит ворота, скрипит вертушка, просыпаются дежурные, кричат, чтобы он остановился. Мальчик бежит. С этого момента я буду звать его Янисом. Потому что это Янис убежал из пионерского лагеря, а не я, меня вертушка не пропустила, потому что это Янис в девятом классе выбрал из предложенных тем годового сочинения свободную, а я в двадцать пятом классе, импровизируя, невольно подобрал ту же тему и вспомнил, что он тогда еще предлагал сыграть в буриме без рифм. Он долго бежал. Пока не задохнулся. Одним нырком он не донырнул до станции — воздуха не хватило, он стоял и жадно глотал воздухом. Перед глазами на леске-паутинке извивался крошечный червячок. Янис обошел крючок и, раздвигая руками кустарник, стал медленно пробираться вперед, он уже был не уверен, что не назад, как вдруг совсем рядом раздался пронзительный крик. Это была электричка, Янис, в отличие от своих преследователей, успел в нее запрыгнуть.

Дверь ему открыл чужой человек, перепачканный краской. Оказалось, что пока Янис был в лагере, родители переехали. Решили сделать сюрприз — чтобы он вернулся сразу в новую квартиру — где у него будет своя комната. Янис увидел в ворохе газет, которыми был застелен пол, край миллиметровки. Однажды отец развернул ее и сказал: «А хочешь, я тебе покажу, где мы будем жить?» На розоватом листе были начерчены прямоугольники разной длины — как в квадратах «морского боя». Четырехпалубный, трех-, двух-. Отец сказал, что они будут жить в двенадцати-.

— Вот наш дом, — сказал он, — видишь, какой длинный, его называют «китайской стеной», и действительно — за ним дикое поле, он стоит на краю самого последнего микрорайона.

— На краю света, — вздохнула мама, — ты знаешь, я невеселый новосел. Может быть, мы еще передумаем?

Янису не верилось, что все это существует где-то помимо бумаги, ни тогда, ни сейчас, и странные слова «микрорайон», «миллиметровка» увеличивали сомнения. Янис протянул рабочему план микрорайона. Рабочий приложил его к стенке и сказал:

— На плане даже лучше. Я напишу тебе, как туда ехать, и нарисую, как идти от остановки.

Глядя, как рабочий рисует схему, Янис хотел сказать ему то, что в таких случаях говорил преподаватель в изостудии: нельзя двигать лист, на котором рисуешь. Рука может двигаться как угодно, но лист должен оставаться неподвижным. Маляр внезапно оторвал карандаш от листа и сказал:

— Нет, лучше не надо тебе самому ехать. Я там живу недалеко, так что ты подожди во дворе, через час поедем вместе.

— Но вы дорисуете? — спросил Янис.

— А я и так уже нарисовал. Держи, на будущее пригодится. — Он начал отрывать край, но Янис воскликнул:

— Ой, не надо! Можно я возьму целый лист?

Маляр улыбнулся, сложил лист несколько раз и дал мальчику. Выходя за дверь, Янис уже знал, что не будет ждать.

Автобус ехал гораздо дольше электрички. Когда пошли бледные высокие дома, он стал часто сворачивать, а потом снова дорога была прямой, мимо маленьких домиков, — Янису казалось, что он едет обратно. Янис спрашивал у разных людей, не его ли остановка следующая, но они сговорились и отвечали все время одно и то же: «Это еще очень далеко». Автобус явно ездил по кругу. Развернутый лист

миллиметровки лежал на коленях. Янису странно было, что карандаш маляра успел оставить столько зигзагов. Может быть, они были до того? Может быть, это не только теперешний маршрут, но и бег по раздваивающимся тропинкам, и круги по территории лагеря, и все это перепуталось, потому что нельзя было двигать лист, на котором... Автобус остановился, Яниса толкнули в плечо и сказали:

— Эй, парень, очнись, тебе здесь выходить.

И снова дверь открыли рабочие. Янис испугался, но в следующую секунду он понял, что это другие, просто такие же заляпанные. Они прочли адрес, который был написан на листе, и сказали, что он ошибся. Не заметил букву «б», стоявшую рядом с номером дома.

— Я не знал, что дома бывают с буквами, — пролепетал пораженный Янис, — я думал, только корабли.

Оставалось преодолеть последние сто метров. Но Янису теперь казалось, что на миллиметровке не «морской бой», а другая игра, в которой корабли плавают, а не стоят на месте. Он вышел из подъезда, сделал два шага и остановился. Он считал пальцем этажи своего нового дома, пока не коснулся неба, в шутку отдал салют, и тут же рука превратилась в самолет, потом взяла воображаемую кисточку... Обогнув дом, он увидел карусель, вращающуюся посередине гигантского пустого двора. Собственно, каруселью ее еще нельзя было назвать, там не было ни сидений, ни лошадок, это был пока просто круг, обитый бордовыми досками. Два парня подталкивали его, и он крутился. Они притормозили, давая возможность Янису залезть, и снова стали подталкивать. Янис посидел на краю, свесив ноги, упираясь ладонями в шершавые доски. По-

том вдруг встал и попробовал добежать до центра. Падая, он схватился рукой за ось, и рука соскользнула вниз, туда, где вращались шестерни. За секунду перед тем, как он потерял сознание, Янис вспомнил правило, которому учили в изостудии. Которое теперь невозможно было соблюсти, так как рука, схваченная шестернями, не могла двигаться, а лист миллиметровки, подталкиваемый ветром, — остановиться.

Глава 2

Глядя, как Янис занимает свою позицию у окна, я не раз думал: а не был ли его прадед в юности латышским стрелком? И не от него ли Янис унаследовал свою дальнорукость и «вокноглядящность»? В младших классах, делая домашние задания, Янис все время забегал взглядом на поля, простиравшиеся за окном. Поля давным-давно застроили, «китайскую стену» (так называли длинный-предлинный дом Яниса) разбили на несколько частей. Ну, не в буквальном смысле, просто присвоили трем частям отдельные номера. И телефонный номер сменили, и теперь старый используется исключительно в ретроспективных целях: раз в два года Янис набирает его, и микрорайон за окном исчезает, ветер расчесывает поле... Только что ручка, кувыркаясь, прошла вверх по руке, как игрушка ванька-встанька, упала на матрас, а теперь снова строчит, издавая при этом те же звуки, что скребущий коробку хомяк. Я лежу на матрасе, расстеленном на шахматном паркете, вписав голову в угол комнаты. Моя голова похожа на бильярдный шар, остановившийся у самой лузы. Ното

loser* . Хомяк, кстати, может пролезть сквозь любое отверстие в линейке-трафарете. Для этого его нужно поднести, сжав в горсти, мордочкой к самому отверстию, ослабить сжатие, и хомяк храбро ринется вперед и обязательно впишется что в треугольник, что в круг, что в трапецию.

И еще этот хомяк... Этот хомяк уже должен был прошмыгнуть, мышшь схохмить...

«Я не писатель, — говорит Михал Михалыч Жванецкий, — я не могу писать, как дверь скрипнула, как птичка пипснула, мне это скучно».

Но ты — воистину писатель, друг степей, акын. Так возвращайся же к герою!

Аллитератор. Аллюзионист. Недавно Ник взял меня с собой на парти, но мы пришли туда порознь, и мне открыла женщина, выпившая достаточно, чтобы принять меня за разносчика delivery из китайского ресторана. Ник стал представлять нас друг другу, но она прервала его, когда он хотел произнести ее имя, и сказала сама: «Матильда». Я машинально переставил буквы в обратном порядке и понял, что зря это сделал, потому что получился вопрос, который я за месяц уже устал слышать.

— Это имя? — на всякий случай спросил я.

— Это не имя, — усмехнулся Ник, — это — партийная кличка.

— О чем вы сейчас думаете? — спросила Матильда.

— Об анаграмме вашего имени.

— Вы все-таки похожи на китайца.

— Ад ли там? — сразу воспроизвел Ник.

— А мягкий знак? — спросила Матильда.

* Loser (англ.) — проигравший, неудачник.

— О метафизической роли мягкого знака в русском языке написано не меньше, чем по поводу твердого.

— Да и ты об этом писал, уже здесь, — вспомнил Ник.

— Так это вы тут писатель? — воскликнула Матильда. — Ник рассказывал мне, что к нам приехал писатель, прямо оттуда. — Она обвела рукой собравшихся и воскликнула: — Так пишите же живую жизнь!

— Меня назови Аристархом, — попросил Ник, — я всегда хотел быть Аристархом.

Через день он передал мне подарок Матильды: «The Dream Nothing Book» — книгу для записи снов. Сто шестьдесят голубых и облачных страниц, которые жалко было изводить на черновик, и я решил писать там начисто то, что уже было писано-переписано сто раз, — писать о Янисе, уж не знаю, имеет ли он какое-то отношение к живой жизни. В каком-то смысле все это — попытка оживить оживителя... Но попытка слабая — Янис часами неподвижно сидит, положив ноги на подоконник, и заставить его смеяться не удастся ни мне, ни тополиному пуху.

В аэропорту JFK я видел на небе белую надпись, сделанную эскадрильей истребителей. Что было написано, не помню.

Незадолго до вылета врач сказал, что если не лягу в стационар, то, скорее всего, сыграю в ящик, но Янис сказал, что этот врач сгустил краски, дал мне какие-то таблетки, попросил не запивать их водкой, я не стал сдавать билет.

Если врач сгущает краски, ящик оказывается черным — играешь в «черный ящик». При этом уже в смежной комнате однозначно живая жизнь — Ник играет с Труфановым в нарды.

«Кажется, что существо литературы есть ложное, — пишет Розанов, — не то чтобы «теперь» и «эти литераторы» дурны: но вся эта область дурна, и притом по существу своему, от «зерна, из которого выросла».

— Дай-ка я напишу, а все прочтут? Почему «я» и почему «им читать»? В состав входит — «я умнее других», «другие меньше меня», — и уже это есть грех».

Нет, я не чувствую за душой этого греха, наоборот: пишу, потому что глупее всех. Ник в эти игры наигрался еще на студенческих капустниках. Труфанов — тогда же. Хотя чем его нынешние игры лучше моих? А тем, что Труфанов приехал в Нью-Йорк на свою персональную выставку, у него купили работы. Он запросто проиграл Нику полсотни в нарды и глазом не моргнул.

А ты не умеешь играть в нарды и играешь в уголки с доктором Кронбергсом. И это — тоже «юмор на лестнице», потому что сам доктор словами наигрался тогда же, когда и Ник, в студенческую пору, например, он тогда сказал, что я занимаюсь анализом мата, а он — анатомией пата (патанатомия и матанализ были его и моей основными дисциплинами). Не бог весть что, но у Яниса все это тогда же и кончилось, а у меня, как видно, продолжается, я все еще пытаюсь понять, пат это или мат, тогда как это — принципиально другая игра — уголки.

«Если эту ценностную точку внеаходимости герою теряет автор, — предупреждает Михаил Михайлович Бахтин, — то возможны три общих типичных случая его отношения к герою:

1. Герой завладевает автором...
2. Автор завладевает героем...

3. Герой является сам своим автором, осмысливает свою собственную жизнь эстетически, как бы играет роль; такой герой в отличие от бесконечного героя романтизма и неискупленного героя Достоевского самодоволен и уверенно завершен».

Третий случай — это ничья.

«Но чем ты заплатишь за воду ничьей?»

Пора кончать с этими играми, не мальчик уже, и не век же злоупотреблять гостеприимством Ника.

Ник, очевидно, думал, что я — легкое облачко, влетающее иногда вслед за собственной книгой и улетающее по мере потери читательского интереса.

Ник сказал, что прочел мою книгу за одну ночь — не мог оторваться.

А миль через десять Ник задумчиво произнес: «Бывают, конечно, и получше книги».

Так что вряд ли тебе удастся занести Ника в разряд почитателей, а даже если кто-то перед сном тебя почитывает, так это вовсе не повод, чтобы в полдень писать свои «Опавшие листья» (фиговые), тебе надо вставать и идти искать деньги.

«А правда ли, что поэт должен быть голодным?» — спросили у Жванецкого. «Правда, — отвечал он, — а потом он должен послать поэзию к чертовой матери и быть сытым». Но я уже в таком положении, что посылай — не посылай... При этом я каким-то образом нахожусь в Нью-Йорке, при этом ни денег, ни права на работу у меня нет.

Нужно вставать и искать нелегальную работу. «На кэш».

Но я никуда не пошел. Я встал, выглянул в окно и увидел там мокрый снег, ветер. Стекла гудят. Собаку не выгонишь. Хлеб, конечно, всему голова, но на улице хлябь, посеуму: глава.

Глава 3

Янис на фоне жилого массива. Смотрит в окно. Дома похожи на мокрые простыни, развешанные на веревках до самого горизонта.

Он встряхивает маракас с сахарным песком. Вместо того чтобы высыпать сахар в чай, засыпает.

Он очень устает в последнее время. Во сне продолжает работать.

Его сон на самом деле был довольно подробно описан, но в чистовик не попал, вообще все, что я писал в последнее время, никуда не попало, так как я почувствовал, что вместо собирательного образа героя произведение обретает образ распадающегося автора.

Просто чтобы избавиться от метафизических спекуляций, я написал, что Янису снятся страусы (хотя все и затевалось ради этих его снов, в которых он продолжает работать в реанимационной, и, проснувшись, не может понять, куда делся пациент), а спустя неделю я плыл на пароме в сторону Стейтен-айленда, и рядом со мной девушка читала книгу, в которую я тоже заглянул и прочел, что героине снились страусы эму, безмолвно открывавшие и закрывавшие клювы... Я не мог не спросить у девушки разрешения взглянуть на обложку. Она прикрыла книгой лицо, я прочел название: «Книга смеха и забвения».

Потом пошла длинная полоса поисков работы, до сих пор безуспешных. Хотя иногда кажется, что

части меня (равные целому) устроились на все места, куда я ходил или хотя бы звонил, одновременно. Они заселили весь город. Я чувствую, как они возят пиццу, разбивают стены, торгуют сахарными орешками, возятся у компьютеров, у всех у них на лацканах октябрятские звездочки...

Друг Ника Миша Сикорский вручил мне ключ от номера в гостинице на 118-й улице, который снимает некая миссис Гейбл, и она же сдает его другу Ника, а сама живет во Флориде или на каких-то островах, все это сложно, лучше не вникать. Друг Ника не сказал, где он будет жить тем временем, наверно, его новая девочка-друг располагает жилплощадью. Все завалило снегом, и я шел в гостиницу, говоря себе, что единственное, о чем теперь можно мечтать, — это пара лыж. Крыша над головой была обеспечена на две недели, а я на большее все равно не рассчитываю вперед, что глупо, конечно, в каком-нибудь другом месте, возможно, во Флориде, но не в Нью-Йорке — той же ночью пожарные, приехавшие из-за чьей-то галлюцинации, выбили мне лестницей стекло. Потом они постучали в дверь, я открыл и увидел людей в скафандрах. Они сказали, что ищут источник задымления, оглядели номер и ушли, до стекла им не было никакого дела, они считали, что это проблема администрации. Лежать было холодно, я встал, зажег свет. Надо было походить, чтобы согреться, но ходить было негде — номер крохотный, кровать, стол и холодильник заняли его почти целиком. На холодильнике я увидел записку: «Миссис Гейбл на Гавайях. Телефон: 2128506». Позвонить? Я решил сварить себе

кофе и вышел из номера с зернами, с кофемолкой, пошел на некую коммунальную кухню и там стал колдовать над плитой. Пока на мне не загорелась рубашка. Я сбросил ее и затоптал. Я был сонным — на кухне было тепло, и даже после кофе хотелось спать. Ночь накануне тоже была бессонной, потому что били какие-то невидимые часы, причем каждый час они били на один удар меньше. Утром оказалось, что это звенела отопительная система, а я уже черт знает что напридумывал — вплоть до третьего начала термодинамики. Сикорский говорил, что миссис Гейбл — *psychic**. Лечит что твой Кашпировский — спайки рассасываются, ну не у всех, на мне вот рубашка загорелась... А Сикорский говорил, что она применяет парапсихологию в мирных целях — реклама, живопись, дизайн и т. д. Ожогов нет, будем считать это проявлением нежности на расстоянии, миссис... А где ваш муж, миссис Гейбл? Кажется, она соломенная вдова. Нет, муж ее — соломенный вдовец... Хорошо, что я не ваш муж, миссис Гейбл, если бы я был из соломы... Я вернулся в номер и попытался заделать окно — сначала одеялом, потом, в отчаянии, я заткнул дыру подушкой, но стекло от этого полностью обвалилось, а подушка распоролась — полетели перья, я ушел из номера и просидел остаток ночи в холле. До сих пор не могу согреться, хотя в баре тепло, и я уже выпил.

На следующий день в музее «Метрополитен» мне дали значок-пропуск белого цвета. Сикорский сказал, что каждый день у значков другой цвет. На стеклянном куполе «Метрополитена» столько

* Экстрасенс (англ.).

снега, что он, тая, стал просачиваться внутрь, служители кутают статуи в целлофановые тоги, Девкалионов потоп, — говорит Сикорский, показывая мне людей в наушниках, которые одинаковое время тратят на целлофановые кульки и на статуи, которые еще не успели завернуть, я вспоминаю о Янисе, окаменевшем под моим пером, я пытаюсь принять его форму, как мим, который летом сидит возле каменного инженера на скамейке в Даунтауне, посмотри, как все вместе завораживает, какая пластика, — говорит Сикорский, а герой ваш слишком статичен, скучен, он не может пошевелиться, а вы, наоборот, облачко, то ли нервно-паралитического, то ли слезоточивого, а что ты хочешь — быть веселящим? Я хочу, чтобы он сдвинулся с места, ну вот он встает и выходит из дому в домашних тапочках, осень, жгут костры, он садится в троллейбус, остается только понять, куда он едет, надо собраться с мыслями, за окном течет бетон, на домах стоят номера серого цвета — жители жилого массива отличают 200 видов серого цвета, а мы заходим в Public Library, ищем там все, что касается мрамора, — Сикорский собирается делать кому-то мраморную террасу, обещает взять помощником, я набираю слово «мрамор», Сикорский распечатывает список литературы, я тем временем набираю слово «бетон», как ни крути, он мой главный герой...

Потом мы ходили смотреть квартиру, которую Сикорский собирается снимать. Когда мы вышли, он спросил: «Ты понял, что они нас приняли за голубых?» — «Нет, — сказал я, — не понял. Так что, они тебе не сдадут?» — «Наоборот! Они же сами голубые! Ты что, вообще ничего не замечаешь?» А ты говоришь «оттенки», какие там оттенки. Слова:

снег, снежесть, нежить... «Снежесть» — это марка бобинного магнитофона, который был у Яниса (мы сбегали с уроков и слушали «Deer Purple», еще у него был пневматический пистолет, стреляли в розовых пластмассовых солдатиков, стоявших на поручне балкона, непонятно, почему я все это вычеркнул, а оставил что-то другое, «Что-нибудь из перечеркнутого не желаете?» — «Не желаю. See you later, my narrator*», в кружок юннатов его привел я, а он меня через год — в секцию бокса, где мы тоже пробыли недолго, о чем свидетельствует его несломленный нос, «Орлан белое перо», лес, Даугава, но при чем тут? Ах да — на первом курсе, напившись, украл из зоопарка сипа белоголового, вышел двуглавый на Сумскую, подцепил сильно надушенный теплый кусок темноты и понес домой, родители уехали, юный сатурналист, не мог кончить, хлопанье крыльев... Можно, конечно, множить количество сцен, но это не исправит положения. Сикорский очень похож на него, и он уже не первый двойник, которого я встречаю в этом городе, хорошо еще, что турникет в метро работает как бы в пику Оккаму, хотя мы с Сикорским часто проходим за один жетон, это не значит, что меня нет или что мы один человек, когда я поменялся с ним местами, вертушка успела подставить мне ножку, и я полетел головой вперед), а нежить — это насморк по-украински, а не то, что вы подумали, да некому думать, будь здоров, успокойся, правда, вечером я читал на суржике Сикорскому, потом мы играли с ним в дартс, Ник спал, убаюканный то ли моим оповіданням, то ли стуком стрел о деревянную мишень.

* До свиданья, мой рассказчик (англ.).

Глава 4

...отбросив тетрадь, включил телевизор и полистал каналы. Почему-то большинство закодировано. До этого телевизор брал все 120. Видимо, кончилась подписка. Из оставшихся меня ничего не заинтересовало. Поплавав по морю разноцветных тонких полосок, я стал на якорь в районе круглосуточного порноканала, который узнал по звуку. Я смотрел на мельтешение полосок и слушал стоны. Вдруг из хаоса вынырнул черный фаллос. Это был явный брак. Все остальное было добросовестно доведено до полной нечленораздельности (и мне вспомнились феминистки, бывшие в барабан на Шестой авеню, — у них был плакат с изображением мясорубки, из которой торчали женские ноги), а член-то как раз ухитрился пролезть в эфир *safe and sound*. Я выключил телевизор и вышел из квартиры. На лестнице, как назло, столкнулся лицом к лицу с суперинтендантом. Уже несколько раз этот сердитый маленький латинец, встречая меня, начинает что-то доказывать. Улетая в Калифорнию, Ник просил меня не попадаться суперу на глаза, по крайней мере, не открывать при нем дверь подъезда своим ключом, потому что жильцы давно уже возмущаются тем, что ключ есть у постороннего. Дойдя до ночного ларька, я спросил там газету «*Greenvich Voice*». Ее еще не привезли. Идти назад не хотелось. Я пересчитал доллары. Как раз на две бутылки пива. Если отказаться от газеты с ее рабочими объявлениями. Да ну ее к черту, эту газету. Она была только поводом выйти в два часа ночи. *Green Witch Voice**. В черном воздухе мелькнули

* Голос Зеленой Ведьмы (англ.).

снежинки. Это был призрак снега, он не оставил следов на асфальте, не коснулся моей протянутой ладони, но что-то кружилось в воздухе, а со стороны Западного Бродвея ко мне шло дерево.

Поравнявшись со мной, чернокожий друид протянул стаканчик для мелочи и телефонную трубку, проводом которой он примотал к телу зеленые ветки, и сказал: «Ты можешь позвонить. За тот же самый квотер». Мне показалось, что у следующего бычьей голова, но я ошибся — он клянчил мелочь без всяких фокусов — просто тряс стаканчик и пел «чень-чень», и тряслись при этом развязанные уши ушанки. Я шел по авеню, читая вслух номера улиц, а в промежутках — напевая что-то из Леонарда Коэна. Ито, и другое я проделываю, чтобы уснуть, но тогда я считаю не улицы, а каких-то баранов, количество которых растет, эти же числа убывали, ergo, я в любой момент мог проснуться. Мимо прошел очередной двойник Яниса. Here we go? Он по оси абсцисс, я — ординат. Ты путаешь. Он как раз сейчас в ординаторской. А ты? And you are obsessed*, я толкнул дверь, спустился по ступенькам и заказал себе пиво. Свет был тусклым. В клубе дыма я заметил симпатичную смесь норки и обезьянки. Машинально отметил: О — без янки... Перебрал висевшие в воздухе поводы для знакомства и понял, что все они никуда не годятся. Разве что предложить ей сыграть в коробочку? Это — веселая и шумная игра — спичечный коробок кувыркается, тарыхтит, и в зависимости от того, на какую грань становится, начисляются очки. Порывшись в кармане, я понял, что ничего не выйдет, потому что нет

* Игра аллитераций. Ergo (лат.) — следовательно. Here we go? (англ.) — Нам сюда? And you are obsessed (англ.) — А ты свихнулся.

никакой коробочки, а есть картонная полоска и приклеенные к ее краю плоские спички. С этим ничего нельзя было поделаться, и я стал искать другой повод, Янис тоже не может найти коробок, он находит только одну спичку, зажигает ее о стекло, снова смотрит на стены, спрессованные из пасмурных дней... В спокойной точке вращения мира стены спрессованы из дней, дни стенографированы прессой, реаниматор смотрит на пациента, реципиент на аниматора... Бармен предложил мне не начинать новую страницу, потому что они закрываются, посоветовал перейти напротив в круглосуточный «Topless».

ПИСЬМО

...и заявил, что все еще занят решением проблемы, истинно ли тождество $A = A$, делом вообще-то зряшным...

Ф. Дюрренматт

Пока я думал, как мне тебе об этом написать, стемнело.

Но буквы еще видны, и я попытаюсь, а то потом забуду то, что сейчас пришло в голову. Ничего особенного, просто я сидел, глядя на лист, и вдруг подумал, что слово, составленное из тех же букв, что «живу», — это «вижу».

Совсем темно, и буквы сливаются. Но ведь и письмо уже написано!

Сегодня утром я прочел письмо, порадовался, что, несмотря на темноту, оно получилось разборчивым, и решил сразу отправить — купил конверт, запечатал, написал адрес. Вот только индекс не смог вспомнить, но подумал, что письмо дойдет и без него. Оказалось, что индекс играет другую роль: письмо не ушло. Вскрыл конверт и пишу дальше. События касаются тебя непосредственно, и тебе все же стоит о них узнать. Прости, если я ошибаюсь и тебя это давно уже не интересует, не читай тогда.

Темно. Я стараюсь побольше отступить, чтобы строчки не набегали друг на друга. Из того, что ос-

тается за пределами листа, сейчас видны только огни. Чем дальше к северу от Хайфы, тем они реже. Итак: в ночь накануне я проснулся в три часа, вышел из сторожки справить малую нужду и увидел три ярких огня, висевших на севере. Возможно, над Ливаном. Один из них исчез и сразу появился в другом месте. Это повторилось несколько раз. Надо сказать, что хотя огни выглядели странно, я был не уверен, что это НЛО, а не ЦАХАЛ (Армия Израиля) или НАТО. День прошел вполне обычно: я бродил по городу, листал в библиотеке периодику, плавал в море, пообедав, увидел, что уже пора на работу. По-моему, я писал тебе, что стройка, которую я охраняю, происходит на горе Кармель. Когда автобус въехал на гору и стал приближаться к моей остановке, я увидел в окне Марину. Я не знаю, сможешь ли ты в это поверить. Могу только сказать, что у меня было достаточно времени, чтобы понять, что я не обознался. Автобус ехал медленно, потому что в эту минуту брал самый крутой участок подъема. Я видел, как она остановилась и, сняв со лба прядь, задержала руку на голове, как она пошла направо по улице, которая ведет к стройке. Автобус проехал еще метров двести. Через какие-то секунды я бежал по улице, но ее там уже не было. Я влетел сквозь открытые ворота на стройку. Дверь в сторожку была открыта, внутри следы беспорядка, смятая постель. Я ничего не соображал, сердце продолжало совершать гигантские скачки. Увидев банки из-под пива, я понял, что это были строители, и выбежал за ворота. Стоящий сразу же за ними дом с двумя башенками — проходной. Спустившись на три этажа, я выбежал с другой стороны на террасу. Лестница снова начиналась возле ее левого края и зигзагами сквозь густую зелень Бахайского

парка вела прямо к автобусной остановке. Но я не побежал по ней. Я подумал, что Марина могла войти в один из домов, и теперь не знал, идти мне вниз или вернуться, а потом почувствовал, что дело не в том, в какую сторону двигаться: просто я уже не верю в то, что увидел. Ты сам говорил, что ее удастся догнать в городе только если действуешь не раздумывая. На террасе стоял столик и три кресла. В одном сидел худошавый благообразный старик. Я стоял и смотрел на него, он на меня. «Ата роцэ кос ти?» — спросил он. «Хочешь стакан чаю?» Я машинально кивнул. На рябом лице появилась улыбка. Он налил мне чай и сказал по-английски, что его окно выходит на стройку, и он привык видеть меня в это время сидящим в кресле возле вагончика. Я подтвердил, что работаю там сторожем. Старик спросил, чем я еще занимаюсь. Я сказал, что ничем, потому что работа поглощает меня целиком. Он представился. «Бергер, — сказал он, — меня зовут Симон Бергер». Я тоже назвал свое имя, поблагодарил его за чай, сказал «Си ю самтаймз» и ушел.

За полчаса я обошел всю улицу. На ней стоит лишь один многоквартирный дом, остальные — это частные виллы с закрытыми в любое время суток жалюзи. Я был удивлен, обнаружив, что во всех кто-то живет, но других результатов у моего исследования не было. Никто, нигде не видел никакой Марины.

В три часа ночи меня разбудил будильник. Я вышел из сторожки, тщательно осмотрел панораму, но не нашел ничего аномального. Потом долго не мог уснуть. Был сильный ветер, стучала дверь. Когда я в шесть утра спускался к остановке, старик читал на террасе газету. На столике перед ним стояли

два стакана. Когда я подошел, он отложил газету и поприветствовал меня. Я рассказал ему про НЛО и в шутку заметил, что не исключаю того, что он вошел со мной в контакт. «Но почему в таком дряхлом виде?» — спросил он. «Удобная шкура — старик», — сказал я, пояснив, что это цитата из Давида Самойлова. Он попросил процитировать еще что-нибудь. Я сказал, что вряд ли смогу на ходу изобрести даже подстрочник. Потом я спросил, чем он занимается. Выяснилось, что теперь уже, по существу, ничем, а раньше психиатрией.

На следующее утро на столике был чай и газета, а старика в кресле не было. Я взял газету — это был номер «Jerusalem Post» — и сразу наткнулся на сообщение о том, что два дня назад террористы пытались ночью пересечь ливано-израильскую границу на дельтапланах. Их сбили и до утра над долиной Бекаа сбрасывали на парашютах осветительные ракеты. В газете сообщалось, что в долине ночью было светло как днем. Пришел старик, принес печенье. Я протянул ему газету, указав пальцем на эту колонку. Перевел ему две строчки Давида Самойлова: «Мы с тобой в чудеса не верим, оттого их у нас не бывает». Старик, казалось, тоже был не в восторге от такого финала. Мы пили чай молча. Потом он спросил:

— Вы тогда были еще чем-то взволнованы, не огнями, правда?

Я кивнул.

— На вас лица не было, — сказал Бергер, — вы были на грани.

После этого он быстро задал мне несколько вопросов. Я отвечал на них прямо, но ему казалось, что я ухожу от ответов. Мне это надоело, и я сказал, что вряд ли смогу ему помочь узнать, кто такая Ма-

рина. Потому что сам никогда не мог этого понять. Старик помолчал. Потом начал было:

— То, что вы рассказали мне о Марине...

Но я позволил себе его перебить и сказал, что мне кажется, что я ничего ему о ней не рассказывал. Только отвечал «да» или «нет».

— Согласен, — кивнул старик, — но тем не менее мне захотелось рассказать вам историю болезни одного из моих последних пациентов. Если вы не возражаете.

Я сразу понял, что Бергер решил, что он сам сможет мне объяснить, кто такая Марина. При этом он решил изъясняться притчами. Постараюсь воспроизвести его рассказ дословно, возможно, за вычетом нескольких медицинских терминов. Все это случилось с ним, или с ней, но тогда еще с ним, через год после приезда в Израиль. Ранение, полученное в бою, казалось наихудшим из всех возможных. В романе Хемингуэя в аналогичном случае персонажу сказали, что он «отдал за эту землю нечто большее, чем жизнь». «Больше жизни» герой рассказа Бергера поначалу отдавать не хотел, в госпитале он предпринял попытку самоубийства. Она оказалась неудачной. Старик отсчитывал начало болезни с этого момента. А предпосылки, с его точки зрения, существовали намного раньше ранения. Оно было только катализатором. «Ничего себе — только», — вымолвил я, и старик согласился, что использует в рассказе слишком грубые упрощения, но иначе пришлось бы читать историю болезни — а это довольно увесистый том. Больной, на этом этапе Бергер дал ему имя Леон, накануне операции по восстановлению детородного органа вдруг заявил, что хочет изменить свой пол. Он смог убедить врачей, что его желание не

продиктовано безумием. После этого скальпель хирурга и гормональная терапия довели начатое осколочным снарядом дело до логического конца. Плюс работа психотерапевта. Леон стал Тиной. Красивой молодой женщиной. «От мужчин не было отбоя, вообще ничто поначалу не предвещало, что Тина станет моей пациенткой!» — сказал старик по-английски, но с типично ивритской интонацией и всплеском рук. Но потом у нее с мужчинами стало происходить то же самое, что у Леона было с женщинами, — он, точнее она, вспомнила, что конкретные женщины Леона чем дальше, тем больше разочаровывали. За их спинами всегда появлялся призрак какой-то другой женщины, он бросался к нему и встречал новую женщину во плоти, и все повторялось. Он на долгое время вообще прекращал половую жизнь. Призрак мерцал где-то вдали. Потом Леон опять принимал за него реальную женщину. То же самое теперь происходило с Тиной. «А Леон обращался по этому поводу к психиатру?» — спросил я. «Нет, — сказал старик, — и Тина по этому поводу обращаться бы не стала. Я начал ее лечить с того момента, когда она вдруг поняла, что единственный мужчина, которого она на самом деле хочет, — это Леон».

— Грустная история, — сказал я.

— Она тоже видела Леона в городе, бегала за ним, но никогда не могла догнать.

— Вы ее вылечили?

— Да. По крайней мере, она больше его не видит.

Потом старик спросил:

— Все же Марина — это реальный человек?

— Конечно, — сказал я, — и поэтому мне не нужно обращаться к вам за помощью.

— Я бы и не смог вас принять. Два года назад я прекратил практику.

Мне вдруг захотелось его послать подальше. Я сказал, что познакомился с Мариной на маяке, куда я поехал работать по контракту. Маяк светил для кораблей, бороздивших Северный Ледовитый океан. По условиям я должен был быть там один, но я сразу почувствовал, что там еще кто-то есть. Через некоторое время я познакомился с Мариной. Полгода мы жили с ней вдвоем, одни в радиусе тысячи километров, поэтому не приходится сомневаться, что Марина существует. Старик все это слушал, тихонько кивая головой, я так и не понял по его глазам, попался ли он на удочку.

— Так почему же вы были так взволнованы, я бы сказал сверхъестественно? — спросил он, когда я замолчал. — И почему, когда разговор касается Марины, вы меняетесь, вы начинаете обдумывать каждое слово, как будто боитесь проговориться?

— Потому что Марина — не обычный человек, — сказал я, — в том смысле, что я, когда вспоминаю ее, уже не могу говорить нормальным языком, а другого я не знаю — вот вам и кажется, что я ухожу от ответа. Вы спрашиваете меня, существует ли она на самом деле, а я, услышав ее имя, уже не знаю, существую ли я сам, существуете ли вы, вы меня понимаете?

— Да, — сказал старик, — теперь я понимаю.

Проснувшись ночью и ступив за порог, я увяз в грязи. Ливень превратил стройку в сплошную трясику. Я вышел за ворота просто чтобы почувствовать под ногами твердую почву. Шел дождь, я стоял на террасе и смотрел в зеркало, висевшее на стене дома. Потом зачем-то спустился сквозь дом по лестнице, пошел по дороге Стелла Марис мимо

стены монастыря кармелитов. Я остановился на смотровой площадке перед памятником Деве Марии, подошел ближе и стал читать вслух выбитые на камне латинские слова. За Марией мне померещилось мелькание крыльев. Присмотревшись, я увидел, что это — не ангелы, а локаторы, торчащие из-за забора военной базы. Они вращались, казалось, это дождь приводит их в движение. Я подошел к стоящей у края площадки подзорной трубе на штативе, нащупал в кармане металлический шекель, бросил в щелочку и припал к окуляру. Секунду там было совсем темно, но потом что-то шелкнуло, черный кружок отодвинулся, появилось блеклое мерцание — отражение огней города в море. Я повернул трубу и увидел сами огни, пустые улицы, штриховку дождя, труба двигалась плавно, я как бы летал над городом, проследившая знакомые по прежним прогулкам маршруты. Если уходил последний автобус, я поднимался из нижнего города в верхний по наклонному лабиринту лестниц и улиц, до сих пор еще сложному для меня, я часто сбиваюсь, попадаю на лестницу, кончающуюся тупиком, лаем собаки, возвращаюсь, пробую другую. А теперь я перевел видоискатель по прямой, без всяких зигзагов, и почти сразу увидел в нем закрытые ворота стройки. Возле ворот стояла женская фигурка. Раздался щелчок, и в глазке почернело. Я бросил еще один шекель, нашел ворота, но возле них уже никого не было. Я судорожно сжимал ручки, которыми вращают трубу на штативе. Как будто пытался повернуть ее по другой оси — как вращают калейдоскоп. Чтобы сложить фигурку из комбинации теней. Потом оторвался и пошел назад, чувствуя, что свернул-таки трубу. Я видел теперь не дорогу, а двери квартиры, в которой жила

Марина. Был год, когда я подходил к этой двери каждый день. Глазок часто темнел после моего звонка. И сразу светлел. Я говорил себе: «Все, это был последний раз». Но, выйдя на улицу, я каждый раз убеждал себя, что это была не Марина, а, например, переменная облачность, ведь дверь недалеко от окна. Бредя по дороге, я думал, что на самом деле никогда нельзя было с уверенностью отличить Марину от атмосферных явлений и что ничего не остается, как согласиться с тем, что эти облака, этот дождь и есть — Марина.

Утром, открывая ворота, я увидел, что асфальт совершенно сухой. Спустившись на террасу, я положил на стол кекс, который купил накануне для утреннего чая, и стал ждать мистера Бергера, глядя на птиц, которые летели из нижнего города в верхний. Они не остановились на уровне Кармели, полетели выше и превратились в черные точки. Бергера не было, и я не стал есть кекс всухомятку, а поехал в Нижнюю Хайфу пить кофе. Не было старика и на следующий день. Я стал подумывать о том, не нанести ли ему визит, но, во-первых, он не звал меня в гости, во-вторых, я даже не знал номера его квартиры. Кроме того, хотя мне был по душе этот разумный старикан, мне не нравилось, что его интерес ко мне — скорее всего, профессиональный. Мне не хотелось становиться средством от скуки отставного психиатра. Тем не менее через день, наплевав на условности, я расспросил жильцов проходного дома, узнал, где его квартира, и позвонил в его дверь. Никто не открывал. Я стоял, наблюдая за игрой света и тени в глазке, и, слыша усиливающийся стук собственного сердца, думал, что надо все-таки рассказать ему, как Марина строит мне глазки. Глазкí. Никто не открывал, и я хотел было

уйти, но на всякий случай нажал на ручку. Дверь подалась, и я вошел в квартиру. Я нашел его тело в большом черном кресле. В подлокотнике была кнопка, на которую я случайно нажал, когда другой рукой пытался найти его пульс. Спинка кресла плавно опустилась, а из-под ног поднялся дополнительный валик, и тело приняло горизонтальное положение. Очевидно, механизм был предназначен для плавного перехода из яви в сон. В подлокотнике была ямка, в которой лежал пульт дистанционного управления. Телевизор беззвучно работал, а за окном тархтел бульдозер. В комнате было слышно не хуже, чем в моей сторожке. Я подумал, что это бульдозеры выгнали старика на террасу, но он ненадолго задержался и там и пошел еще дальше. И где он теперь? Я подошел к столу и позвонил по телефону. Меня попросили побыть в квартире, пока не приедет машина.

Он ухитрился передать мне томик Элиота и чек. Вручила мне их его племянница, строгая и неприветливая женщина, я сначала не понял, что она сказала про чек, и переспросил. Она повторила, что это — моя зарплата за полгода обучения старика русскому языку. Я посмотрел на нее с изумлением, и она что-то заподозрила. Уходя, пробурчала, что ей кажется очень странным, что сумма в точности равна гонорару от последнего психа. Я спросил ее: «Разве он продолжал практику?» — но она, не ответив и не попрощавшись, вышла за ворота стройки. Я решил, что старик придумал уроки русского, потому что иначе племянница не отдала бы мне деньги.

В книгу была вложена его записка следующего содержания:

Дорогой Максим, сегодня я проснулся, как всегда, в полшестого утра от звука, похожего на легкий, как бы непреднамеренный удар в колокол. Я уже давно понял, что звук получается оттого, что когда ты открываешь ворота, цепь бьется о железные прутья. Иногда ты ее удерживаешь, и тогда я просыпаюсь сразу от рева строительных машин. Прошу тебя, не удерживай эту твою цепь. Мне приятно думать, что ты выполнишь мою просьбу, даже если будешь немного ревновать ко мне Марину.

Прочитав записку, я подумал, что старик избрал довольно странный способ моего лечения, но утром, открывая ворота, сделал все так, как он просил. А вечером, когда я закрывал их, цепь сама вырвалась из рук, так же как это бывало раньше. Но на этот раз я проснулся.

Что-то еще я хотел тебе сказать и забыл. Пишу в автобусе, который трогается с места и берет направление на Тель-Авив. Рядом со мной сидит хасид. Только что он снял шляпу. Под ней оказалась еще одна. Автобус едет очень быстро, и кажется, что закончить сейчас письмо — все равно что выпрыгнуть на ходу. Раз. Два. Три. Не так просто. Я хотел спросить у соседа, что он пишет в конце письма. Повернулся к нему и увидел, что он держит перед глазами маленький молитвенник. Потом он его закрыл, положил в карман, а из другого кармана извлек тонкую бумажную полоску и стал с закрытыми глазами завязывать на ней узелки. Пока я писал эти строчки, а потом вспоминал, что еще хотел тебе сказать, он успел завязать по меньшей мере пять узелков.

ШКОЛА РУССКОЙ ЙОГИ

Я стою в нише овальной формы, припав спиной и ладонями к холодной стене. Тихо. Идет урок. Я стал в нишу, потому что услышал шаги завуча, я всегда узнаю ее шаги. Даже если интервал между ними — десять лет. Десять лет я не заходил в школу. Татьяна Ивановна меня не замечает, проходит мимо, я выглядываю из ниши и вижу такую картину: всплеснув руками, Татьяна Ивановна тихонько запевает: «Ходит Пронин целый день, ходит-бродит, словно тень». Это явный экспромт, и очень удачный. Пронин — учитель черчения, лысый, с выпученными глазами, ужасно похожий на домового. «Хо-о-дит, бро-о-дит», — напевает Татьяна Ивановна, а я вдруг чувствую зуд и покалывание во всем теле, я чувствую, как оно начинает изгибаться, освобождаясь от спадающей кожи... Я хочу посмотреть на руки, но никаких рук нет, потому что я...

— Змей, ты шо, хипуешь? — Он прохрипел это после того как, притянув за рубашку, несколько секунд смотрел мне в глаза. Его зовут Панкрат, он — гроза местных подворотен. С его легкой руки я стал Змеем. Как Зам стал Замом, я не помню. Мы оба были новенькими и на какое-то время стали неразлучны. Мы были внешне очень похожи, только у Зама уже всю росла борода, и еще был на нем легкий налет нездешнего. Зам недавно приехал из Франции, где он жил два года вместе с командированны-

ми родителями и учился в школе при посольстве. Если бы родители остались там еще на два года, Зам мог пойти во французский лицей (школа при посольстве была восьмилеткой). Но вместо этого он оказался среди нас. Он показывал нам цветные слайды, на которых был он сам, Зам, в Альпах, с покрытой инеем щетиной, с лыжной палкой, встрявшей в низкое солнце. Он почти все время молчал, а я говорил, говорил, о чем-то его спрашивал, пока однажды он не зашипел свое «merde alors» впервые в мой адрес. Руки он стал себе резать позже, до этого была еще драка. Он подошел ко мне и сказал:

— Змей, я хочу с тобой драться...

— Ты просто сумасшедший. — Я пожал плечами, повернулся и отошел. Но через минуту он снова предстал предо мной.

— Пойдем драться, Змей.

И мы пошли с ним после уроков во дворик. В тот самый дворик, куда через год мы войдем с Ромом. Мы стоим друг против друга. Вокруг в радостном предвкушении повизгивают какие-то юродивые малолетки. Зам поднимает кулак и несет его ко мне, как гирию, трясясь от напряжения. Я все еще не верю в происходящее. Зам движется как при замедленной съемке, я отступаю и бью его. Он останавливается, мотает головой, разбрызгивая во все стороны кровь, и снова идет на меня. Я снова отступаю и снова бью, это повторяется без конца, я иду задом наперед и ни на что не натыкаюсь, сзади меня ничего нет, а впереди — мое лицо, оно упрямо наступает на меня, я бью себя по лицу.

Через какое-то время Зам начал резать себе руки. Полоснет лезвием и смотрит — есть кровь или нет.

Если нет — он собирает кожу с царапиной и давит, пока не выступит капля. Я не понимал, что он проверяет таким образом. Что у него еще есть кровь, или что он не спит и все это ему не снится, или что-то другое. Дома я однажды взял лезвие и полоснул себя по руке. К моему изумлению, вместо крошечной царапинки, как у Зама, кожа, мягкая ткань разошлись почти до кости. Образовалось красное озеро, быстро переполнилось и разлилось по руке, по страницам с формулами, потекло на пол. Боли я не испытывал, пока кровь не начали останавливать всеми имевшимися в доме средствами. Я сказал родителям, что неудачно чинил карандаш. Отец стал подшучивать. Мама промолчала, но посмотрела на меня странно многозначительно. А потом за чаем, между прочим, она рассказала, что после родительского собрания наша Алла Львовна сказала, что у Зама есть отклонения, хорошо известные психиатрам. Но мама могла бы это мне и не говорить, все равно меня больше не тянуло учиться искусству надрезов у Зама и к общению с ним. Да и с другими. Я снова был замкнут, еще герметичнее, чем в прошлой школе, немногочисленных старых друзей я совсем потерял, а новых не приобрел. Я сидел в четырех стенах, делал домашние задания и писал стихи. Иногда стихи текли, как кровь из моего дилетантского надреза, иногда я выдавливал их, как Зама свои красные бусинки. Без этого я уже больше не мог.

Звонок. Я отрываюсь от стены и покидаю нишу, школу, прошлое, быстро, почти бегом, ведь через секунду начнут вырываться из классов дети, и выплывет кто-нибудь из моих учителей, и в ответ на их вопросы мне придется сочинять легенду о себе,

о своей работе, жене, детях, планах. У меня не было здесь таких учителей, которые бы почувствовали, что со мной сегодня происходит нечто несусветное — бродит тень моя, я сам не знаю, зачем она заглянула в школу, не знаю, куда она устремится теперь. Я замечаю, что нет тех старых зданий, которые потихоньку осыпались вокруг школы. Они рассыпались, или их снесли, и как раз на месте двора, где мы дрались с Замом, — новенькие, ярко раскрашенные противотанковые ежи, лестница, лабиринты, силуэты квадратных людей.

Подходя к реке, я замечаю, что ее тоже нет. Воду спустили. Зачем? Ах, ну да, чтобы я сказал: сколько воды утекло с тех пор! Дно покрыто трещинами, по нему ходят голуби и быстро перемещается моя тень. Хрипы моторов, всклокоченные голуби, рыжие пирожки, стук забиваемых свай, стоны трамваев, оплывшие лица прохожих. Я захожу в подворотню, становлюсь на то же самое место, прислонившись спиной к стене. Я смотрю на землю возле своих ног, и она кажется мне водой, далекой водой, как будто я собираюсь прыгнуть с высоты, ласточкой... Я боюсь прыгать, слишком высоко. Я не хочу прыгать, я пытаюсь пятиться назад, но сзади стена, она не пускает меня, и вот уже я извиваюсь на ней, и снова я пытаюсь посмотреть на свои руки, и теперь я нахожу их, но лучше бы я этого не делал. Неужели это мои руки? Кисти вывернуты, пальцы скрючены...

— Змей, — хрипит мне Панкрат, и вдруг за пылевой завесой я отчетливо вижу, что это не Панкрат. Это Ром, мой одноклассник.

— Это — Ром, мой одноклассник, — говорю я, и сам не знаю, кому я это говорю, и вдруг вижу, что Ром тоже тает, и передо мной стоят испуганные люди и смотрят на меня. Я даже слышу, что они говорят: «У него припадок, надо вызвать «скорую»...»

— Я не эпилептик. Это от удара Рома, — говорю я. Или мне только кажется, что я говорю. Мыльные пузыри вылетают из моего рта. Больше я ничего не вижу... Я смотрю на свои руки — ровные и неподвижные, сжимаю кулаки. Я вспомнил, что я — это не я. Я могу смотреть дальше. Я вижу, как я ничего не вижу. Как меня кладут в «скорую», как «скорая» фыркает и отъезжает... Глаза Панкрата... Нет, Рома. Я знаю, что они за мной охотятся, прыгают из одного тела в другое. Но при чем тут ты, Ром? Мы ходили друг к другу в гости, давали друг другу книги, ели винегрет из одной кастрюли, слушали «Genesis», «Yes» и «Pink Floyd». В какой-то момент Ром ни с того ни с сего стал невыносим — он всем стал хамить, всех пинать, и все это терпели, потому что Ром был самым сильным. И я сначала терпел, а потом перестал с ним разговаривать. Я старался его не замечать, а он был этим задет и все время обращался ко мне. По-хорошему. Мы стояли во дворике, и он много раз обращался ко мне по-хорошему, пока не ударил. Никто так никогда и не понял, почему, за что и откуда такая нечеловеческая сила. Я видел твое тело, Ром, я видел, как оно разминается, как оно ведет бой с тенью. Что с тобой стало, где ты и кто ты? Я этого не знаю, я не знаю, зачем я смотрю на «скорую», подъезжающую к санпропускнику. Носилки со мной вносят в приемный покой, минуту я лежу на столе, ко мне подходит Иван Семенович Котов,

мой тренер по классической борьбе. На нем белый халат и колпак. Халат скрывает великолепные мускулы, они видны только на лице — там они играют. Он осматривает меня с какой-то досадой, без особого любопытства. Поднимает мою правую руку и долго смотрит на длинные белые ногти. Морщится. Смотрит на левую. Там ногти коротко подстрижены. Но это не уменьшает его брезгливости! Тощие плечи, продавленная грудь, длинная тонкая шея... Но вот он доходит до лица и внезапно узнает меня... Здравствуйте, Иван Семенович! Что поделаешь, захирел без тренировок. Ногти вырастил, чтобы играть на нейлоновых струнах. У моей гитары очень тихий голос, если играть без ногтей, сам себя не слышишь. Понимаете? Хотите послушать пьесу моего друга Кости, его скоро тоже привезут сюда, его тоже ударит одноклассник, только не в челюсть, как меня, а головой об стенку. Все это — наш с ним совместный бред, Иван Семенович, он играет, а я набираю телефонный номер и держу трубку перед розеткой его гитары. Слышите? Вам нравится? Нет? Или вы не слышите? Господи, вас-то как сюда занесло, в наши бредни, как вы сюда попали, что с вами, Иван Семенович? Ах да, вы же нейрохирург. Тренировать нас было вашим хобби, вы экс-чемпион Советского Союза. Как мне нравилось бороться! Я любил этот горячий воздух схваток, быстрое плетение рук, броски через бедро, с прогибом. Сверху свисала яркая лампа на длинной проволоке — из-под самого купола. Она была накрыта черным конусным абажуром и давала круг света как раз по границе ковра. Все, что происходило за этим кругом, не засчитывалось — даже самые красивые приемы. Почему я ушел с ковра, Иван Семенович?

— В рентгеноскопию. Поосторожней с ним, — говорит Иван Семенович, и меня несут на носилках.

Я подхожу к зданию бывшей синагоги. Кроме борцовского зала там есть еще тяжелоатлетический, боксерский, баскетбольный. Еще есть батут. Сейчас синагога стоит совсем темная и безжизненная, а я помню, что там был батут, я взлетал в воздух и зависал в светлом облаке под куполом. В зале с батутом всегда было очень много солнца, нигде так не хотелось прыгать, кувыркаться и хохотать. Я не знал, что в этом помещении была синагога, иначе я бы не был там так безмятежен. В детстве слово «еврей» наполняло меня безысходной тоской. При слове «еврей» во мне всплывали мысли о страданиях и смерти. А я ужасно, панически боялся смерти, любых напоминаний о ней. Я был во втором классе, когда родители впервые взяли меня на кладбище к бабушке. Больше года они скрывали от меня, что бабушка умерла, говорили, что она в какой-то далекой-предалекой больнице. Они меня «готовили». Ходили вокруг да около одного слова, пока мама наконец не выдавила его из себя: «Умерла». — «Я знал», — сказал я и тут же понял, что ничего я не знал, что теперь только снята заслонка и на меня валится то, что я не могу выдержать, и ревел я именно так, как не хотели родители. Но прошло время, и воспоминания о бабушке, и мысли о смерти стали гладкими, как морская галька, и больше не резали. Заслонка задвинулась и была теперь такой толстой, что меня даже взяли на кладбище. Мы подъехали на трамвае прямо к высоким воротам, над которыми стоял перепол-

ненный каменный кувшин, и каменный поток выливался из него и не падал на землю. Возле ворот сидели старушки и продавали цветы. Папа купил тюльпаны и дал их мне. Я посмотрел на красные бутоны и заметил тоненькие розовые резиночки, которыми они были стянуты. Я снял с одного тюльпана резинку и заглянул внутрь. Там ничего не было. Даже запаха. Мы шли по тенистым аллеям, порой таким узким, что родителям приходилось идти боком, протискиваясь между черными, белыми, бронзовыми оградками. Я читал надписи на плитах памятников и не мог найти ни одной с полностью русскими фамилией, именем и отчеством. На многих плитах были шестиконечные звезды. И дикая догадка пронзила меня: умирают только евреи. Поэтому все так боятся произносить это слово. Вот почему родители говорят не «еврей», а «айд». Вот почему именно от этого слова веет чем-то таким, что не хочется жить. «Только евреи», — понял я, плетясь за родителями и не зная, как их спросить, ведь они, конечно, такое не скажут. И они действительно нашли, что сказать, они сказали, что это еврейское кладбище. Я им не поверил, я спросил: «А почему нет ничего еврейского, а кладбище есть?» — «Официально оно не еврейское, так было раньше, а теперь просто по привычке», — ответили мои родители. Мы шли дальше, и стали попадаться кресты, памятники с русскими фамилиями, и только это смогло рассеять мои сомнения. И я задумался над другими загадками: зачем эти высокие оградки с тяжелыми замками; почему так много кошек, что они тут делают; почему здесь не слышно города и так громко поют птицы; почему на памятнике, на который я глянул вслед за родителями, стоит надпись: «Самому себе».

Надо мной появилось мамино лицо — красные глаза, черные разводы вокруг глаз. Она в белом халате. Она говорит, чтобы я не волновался и не двигался, только говорил, что мне нужно. «Ты так долго бредил, — всхлипнула она, — говорил какие-то страшные вещи. Откуда это в тебе?» — «Что?» — спросил я. «Не знаю, ладно, все это глупости. Ты знаешь, в чьем отделении ты лежишь?» Но это меня сейчас меньше всего волнует. Я вспоминаю вдруг двор, Рома, стоящего передо мной. Все, больше ничего нет. Нет, вот еще один двор, люди, судороги. Мне становится жутко. «Мама, у меня ведь нет эпилепсии?» — спрашиваю я. Она удивленно смотрит на меня и качает головой: «Нет, нет, совсем другое». Что же со мной? Я пытаюсь вспомнить что-то еще. Вот еще дорога из одного двора в другой. Подвесной мост. Он качается. Все ужасно пыльное. Каждый шаг вызывает целую пылевую бурю. Нет, больше ничего не вижу, только пыль. «Ты помнишь? — спрашивает мама. — Тебя ударил Кривулин, подонок, его уже посадили в камеру». — «Рома в камеру?» — удивляюсь я. «Подонок, — стонет мама, — ты упал без сознания, а он ушел, оставил тебя там лежать, сказал: «Ничего, пройдет». Слава богу, что там были мальчишки, они помогли тебе встать, когда ты очнулся, помогли идти. А потом ты опять... А потом мне позвонил Иван Семенович... За что он тебя ударил? — спрашивает мама. — Это не на почве антисемитизма?» — «Нет, — говорю я, — это без всякой почвы».

Осень. Я бреду сквозь заваленные листьями кварталы. Сквозь провалы в памяти, заполненные смесью тумана и дыма множества костров. Меня

нет — бредет тень моя, пугает прохожих, женские каблучки, попадая на нее, перестают цокать, ускоряются, хотят вырваться на звонкий асфальт, им кажется, что я их преследую, но это неправда, бежит тень моя, ей неведомы желания, у нее нет очертаний, она принимает любые формы — вот сейчас она превращается в женские тени, и во всем Городе женщины бегут от своих теней под дождем.

Сквозь узкий желоб проходного двора я проникаю в Костин дворик. Вот Костин дом — одноэтажный и одноглазый флигель, темный, покинутый, на глазах теряющий форму. Как я не замечал, что сделан он из папье-маше? Крыша и тогда протекала. Потолок набухал, и когда дождь кончался, начинало капать в комнате. Я толкаю дверь и захожу в коридор. Газовая плитка протягивает мне дрожащую синюю лапу. На другой стоит чайник, крышка подпрыгивает, и из-под нее сочится бесцветная жидкость. Шипит, когда я подношу руку. Я выключаю газ, подхожу к Костиной двери, глажу ее рукой и натываюсь на глубокий порез. Значит, он говорил правду. А я не верил. «Ты не знаешь моего отца, — говорил Костя, — он фашист, он меня ненавидит. Он когда-нибудь убьет меня. Ты не веришь мне? Ты знаешь, что он недавно бросился на меня с ножом? Он всадил нож в дверь, которую я чудом успел захлопнуть. За то, что я записался евреем».

«Нет, это не Костя», — говорю я маленькому человеку, открывшему дверь, испугавшемуся, но потом рванувшемуся ко мне с воплем: «Котя!» Он заводит меня в комнату, в которой уже десять лет нет

Кости — он уехал с мамой-еврейкой. Гитара лежит на шкафу. Я подхожу, тяну ее на себя. Облако пыли. Его отец дает мне какой-то листик, я читаю: «Каждый вечер подхожу к окну и подолгу смотрю на Манхэттен. Пока от абсолютной нереальности этой картины я не начинаю хохотать». Я отдаю лист, прощаюсь и иду к двери. Его отец бежит за мной, хватается за рукав, кричит тонким голосом: «Нет, ну ты понял? Понял?»

Я иду по Городу с закрытыми глазами. Мигаю наоборот — на мгновение приоткрываю веки. Все режет и режет. Мне ли бояться с чем-то столкнуться, тем более сейчас, когда все разбухло и пешеходы, натываясь на стены, прорывают их мягко и бесшумно, так что сами того не замечают. Эта улица ведет к самой большой и самой пустой площади, не помню только где — в мире ли, в Европе ли, в Азии. Я хочу выйти на нее, но какие-то тени встают у меня на пути, огромные тени на стене, белокаменной, плотной, я не пытаюсь пройти сквозь нее. Я снова в палате, со жгутом на шее, но мне уже можно ходить. Я сижу и смотрю в окно. Ветер безуспешно пытается его выдавить. В палате тяжелый воздух. В чашке тяжелая вода. В бутылке — молоко. Я думаю, чем запить красные шарики пилюль. Вячеслав Михайлович, тоже ходячий с недавних пор больной, что-то тихонько мастерит, сидя ко мне спиной. Вот он встает и идет ко мне, в руке у него какая-то палочка. Он облизывает губы длинным языком. Вместе с языком вращаются глаза. Один по часовой, другой против. Становится прямо передо мной в позу копьеметателя. Я хватаю с тумбочки бутылку, замахваюсь. Вячеслав

Михайлович начинает трястись, клокотать своим смехом. В лицо ему хлещет молоко, и он умывает им лицо, грудь и под мышками, палку роняет на мою кровать. К ее концу примотана суровой ниткой цыганская игла. Лысина Вячеслава Михайловича прочерчена посередине толстым шрамом — от уха до уха. Врачи говорят, что положили мозги на место, но Вячеслав Михайлович им не верит и готовит кровавую месть. С моих рук стала сползать кожа, врачи не знают отчего, говорят, от нервов. Я сижу и со страхом смотрю на свои руки, дверь со скрипом открывается, кто-то подходит к моей кровати и говорит: «Я же говорил, что ты Змей». Это — Зам. Я ложусь, а он садится у моих ног, смотрит дружелюбно. «Извини, я тебе не принес передачу. Хочешь мой бутерброд?» — «Половину», — сказал я. Зам переломил бутерброд и протянул мне на бумаге. Я выбрал правую часть. Я жую хлеб с котлетой и внезапно чувствую, что есть там что-то такое, чего я не могу прожевать, оно ускользает и режет язык. Я достаю изо рта кусок лезвия, смотрю на него, разинув рот. На простыню капаят первые капли...

Я иду мимо музея природы, заполненного чучелами животных, живших на Земле. Возле музея стоят серые каменные «бабы» — идолы, сделанные скифами или какими-то другими племенами. Возле метро толпятся люди со сложенными зонтами, они не замечают, что идет дождь. Они не замечают и того, что их нет, они говорят: о выборах, о ценах, о конце света. Я стою как истукан посреди площади. Ветер. Листья носятся над головой, как летучие мыши. Милиционер в плащ-палатке — огромная

летучая мышь — подлетает прямо к моему лицу, говорит: «А ну дыхни». Я дышу на него, и он исчезает. Медленно спускаюсь по ступенькам под землю, и когда снаружи остается одна голова, озираюсь вокруг. Уже ночь, и города не видно, сквозь заляпанные стекла видна только черно-белая монада на фонарном столбе. Над ней большими буквами написано:

ШКОЛА РУССКОЙ ЙОГИ

Эти объявления развешаны по всему городу. Каждый раз, натываясь на них, я не мог понять, что это значит. Только сейчас, в переходе метро, я вдруг вспоминаю, что это название.

Холодком под ложечкой возвращается чувство собственного отсутствия.

Александр Мильштейн
ШКОЛА КИБЕРНЕТИКИ

Новеллы

В авторской редакции

Автор портретного снимка на обложке *Bernd Sauter*
Художественный редактор *М. Ю. Епифанова*
Технический редактор *В. И. Кулагина*
Компьютерная верстка *Е. А. Крылова*

Подписано в печать 17.07.02.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура Ньютон.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,80.
Тираж 5000 экз. (1-й завод 1-2000 экз.) Изд. № 02-4682-О.
Зак. № 192.

Издательство «ОЛМА-ПРЕСС»
129075 Москва, Звездный бульвар, 23.

Отпечатано в полиграфической фирме
«КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ»
103473 Москва, Краснопролетарская, 16.

*Под маркой серии русской актуальной прозы
«ОРИГИНАЛ»
Издательского Дома «ОЛМА-ПРЕСС»
вышли в свет:*

Сергей Носов. ДАЙТЕ МНЕ ОБЕЗЬЯНУ

Финалист премии «Национальный бестселлер»'2002, роман-трагифарс известного петербургского прозаика Сергея Носова «Дайте мне обезьяну» — гротескная хроника провинциальной предвыборной кампании.

В книгу также включены пьесы для чтения «Берендей» и «Джон Леннон, отец» и три новеллы.

Безумно смешно... необычайно едкий гротеск.

«Новый мир»

Носов сочетает честность с забавностью, приятность с серьезностью, смех со слезами в пропорции, неназойливо предлагаемой самой жизнью... Сейчас мода на утрирование, но она мало-помалу сходит на нет, уступая место другой прозе, прямой, как перст, но не простой, как палец, — натуральной... Сергей Носов — писатель завтрашней моды.

Виктор Топоров, петербургский критик, издатель

Владимир Шаров. СЛЕД В СЛЕД

Каждая книга московского писателя Владимира Шарова вызывает острые дискуссии в критике и среди профессиональных историков. «След в след» — дерзкая версия ключевых событий XX века, решенная в жанре семейной хроники. Сверхплотный, до предела насыщенный головокружительными поворотами сюжет оттеняется классически-спокойным стилем повествования.

Называть эти романы историческими затруднительно... Ближе они к жанру фантастическому — ...не к современным фэнтези, а к старой доброй научной фантастике. Но, в отличие от сюжетов Уэллса и Беляева, движущей силой сюжетов Шарова становится допущение не техническое, а историческое или социальное.

«Русский журнал»

Жизнь рода — это и есть полная человеческая жизнь. На каждый род Господь отпустил равную меру добра и зла, и поэтому человек, который много грешил, обрекает на страдания своих потомков.

Из романа

Анатолий Азольский. РОЗЫСКИ АБСОЛЮТА

Лауреата русского Букера Анатолия Азольского часто сопоставляют с Грэмом Грином. Произведения писателя отличаются сложной, авантюрной фабулой. Однако остросюжетность для Азольского не самоцель, а средство рельефнее выявить характер героев — незаурядных людей, отстаивающих свою внутреннюю свободу в столкновении с безжалостной действительностью.

В книгу вошли повести «Облдрамтеатр», «Нора», «Розыски абсолюта», роман «Кровь».

Герой Азольского иногда смахивает на древнего грека, который знал, что Судьба существует, но жил так, как будто ее нет. Ему и деньги-то, презренный металл, нужны лишь для обеспечения свободной жизни помимо какого бы то ни было принуждения... Существовать — значит реализовать свою свободу, а следовательно — рисковать своим существованием. Нет риска — нет свободы. Но нет и существования.

«Дружба народов»

Оглядывая русскую литературу в поисках аналогов, с удивлением убеждаешься, что аналогов — нет.

«Новый мир»

Наталья Смирнова. ФАБРИКАНТША

Дебют писательницы из Екатеринбурга в центральном издательстве. Роман «Фабрикантша» — драматическая история современной деловой женщины, рассказанная языком сильных чувств и точных внезапных метафор. В книгу также включены четырнадцать рассказов — от бытовой зарисовки до минималистской притчи, — демонстрирующих весь спектр незаурядного дарования автора.

Стиль Смирновой — смесь фламандского сора, нравов Разгуляевой улицы, культурологии. Эта глубокая и тонкая проза — о мужчине и женщине, о тщете любви, красоте зла, но ее нельзя назвать «женской».

Николай Коляда, драматург, редактор журнала «Урал»

Что произошло бы с романом Флобера, если бы Эмма Бовари, послушавшись автора, не стала на путь плотских страстей, а купила швейную машину?

Из рассказа «Женщины и сапожники»

**Александр Чудаков. ЛОЖИТСЯ МГЛА
НА СТАРЫЕ СТУПЕНИ**

Масштабный историко-философский «роман-идиллия» виднейшего российского литературоведа Александра Чудакова с гипнотической достоверностью воссоздает навсегда канувшую в прошлое культуру ссыльно-поселенцев середины XX века, вынужденных жить и выживать на границе Сибири и Северного Казахстана.

Книга — финалист русского Букера'2001.

В этой стране, чтобы выжить, все должны были уметь делать всё.

Из романа

Удивительная книга о том, как под большевистским игом сохранилась настоящая Россия, о том, почему мы живы и не утратили чувство свободы, о том, что мы безвозвратно потеряли.

Андрей Немзер, «Время новостей»

Константин Плешаков. КРАСНЫЙ КАМЕНЬ

Красный Камень — это священный перстень древнего бога Диониса, несущий то ли неземное блаженство, то ли вечное проклятье, который героям романа Константина Плешакова предстоит отыскать в сегодняшнем Крыму.

Некоторые аспекты творчества 42-летнего писателя, ныне живущего в США, открыто скандальны, но виртуозный стиль, композиция, философская и психологическая глубина выдают несомненную принадлежность его произведений к высокой литературе. Кроме романа в книгу включены восемь избранных рассказов разных лет.

Пример изысканной выделки и благородной выдержанности... Все дышит и шевелится — но последний раз. Застывая, становясь мрамором и фарфором. Именно это и творит литература, если умелая рука напускает ее на реальность за окном, — восхитительный фриз, в котором отныне не шелохнется ни один лист, не шевельнется рука.

«Независимая газета»

Голубой Хемингуэй.

«Коммерсантъ-Daily»

В России появился совершенно особый и блестящий писатель.

«Литературное обозрение»

Андрей Левкин. ГОЛЕМ, РУССКАЯ ВЕРСИЯ

События романа Андрея Левкина «Голем, русская версия» ограничены пределами безымянной московской улицы. Однако в этом камерном пространстве, как в безупречном кристалле, отразилась судьба всего российского общества на пороге века: усталость, любовь и косность, страх перед непривычным будущим и эфемерная надежда.

В книгу лауреата премии Андрея Белого '2001 также включены биографический памфлет о П.Я. Чаадаеве «Крошка Tschaad» и несколько стихотворений в прозе.

Эдакое уговаривание и заговаривание мира, персонажей, ситуации на все время сдерживаемом голосе. Очень-очень тихо, очень-очень ласково, как погладить по голове очень-очень маленького, только что освоившего вертикаль. Так, чтобы тяжесть ладони... придала верное направление: туда-туда, тихонечко, остороженько, ну еще шажок, шажочек.

Ольга Хрусталева, критик, искусствовед

Я... примерно знаю со стороны, как здесь все будет происходить... Я в Риге жил, там-то страна поменьше, так что там все происходило быстрее, теперь могу сравнивать и запросто говорить, что и как будет.

Из интервью Андрея Левкина, май 2001 года

Павел Мейлахс. ИЗБРАННИК

Дебютная книга Павла Мейлахса свидетельствует о том, что в русской литературе вспыхнула звезда первой величины. Исступленная, до предела откровенная в своем безжалостном психологизме проза молодого писателя из Санкт-Петербурга — впечатляющая попытка рассказать о поколении нынешних тридцатилетних, используя толстовские принципы анализа человеческих характеров.

Родись Толстой сейчас, каким бы он был? Да уж не тем, к какому мы привыкли. Может быть, он был бы чумовым, исступленным битником, пишущим дикие стихи? Наркоманом, жаждущим смерти, вспарывающим себе вены?.. Но, взглядевшись в него внимательно, ты вдруг с изумлением обнаружишь в нем... толстовские черты.

Из книги

Павел Мейлахс написал наиболее точный портрет поколения тридцатилетних—сорокалетних... Фальшь, натужность, корыстность всех мифов современности — советских, демократических, коммерческих, интеллигентских — прочувствованы им с таким же отчаянием, с каким больной чувствует признаки отвратительной болезни. Поколение родителей (успевшее взойти на иллюзии демократии, прогресса) с ужасом смотрит на такого сына. И об отчаянной этой ситуации — его пронзительные, потрясающие повести и рассказы.

Валерий Попов

Марина и Сергей Дяченко. ПЕЩЕРА

«Пещера» принадлежит к сильнейшим произведениям известных киевских писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко. По жанровым признакам это городская фэнтези, по сути — умная и тревожная притча о человеческой природе, перед которой равно беспомощны и высокое искусство, и просвещенная власть.

В философских притчах Дяченко фэнтезийные декорации необходимы для создания внутренне достоверной модели, но сама модель используется для решения совершенно «земных» художественных задач.

«Новый мир»

Человечество всегда стоит на пограничье с теми силами, которые действуют самостоятельно и нами не управляемы... Мы оказываемся в тупике, хотя думаем, что освобождаемся, занимаясь ловлей всех тех злых зверей, что населяют пещеру подземного мира души.

Карл Густав Юнг

Александр Скоробогатов. ЗЕМЛЯ БЕЗВОДНАЯ

38-летний прозаик Александр Скоробогатов родом из Белоруссии, ныне живет в Антверпене. «Земля безводная» написана в соответствии с канонами западного психологического триллера («Падший ангел» У. Хьортсберга, «Невинный» И. Макьюена, «Бойцовский клуб» Ч. Паланика). Сюжет романа можно трактовать как назидательную метафору: его герой, человек без корней, утративший свой прежний дом и не нашедший нового, обречен на жизнь среди кровавых химер, на противостояние злу, которым, кажется, пропитана почва под ногами — и которое на деле исходит изнутри тебя самого.

Но какие лекарства прописать нескужающему человеку, которому и без книг есть чем заняться? Чего ему-то почитать?.. Я знаю, что это мог бы быть за роман: писанная по-русски убийственно элегантная социальная сатира, по жанру скорее триллер, чем что-либо еще.

Лев Данилкин, «Афиша»

Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших... Простираю к Тебе руки мои; душа моя к Тебе, как жаждущая земля.

Псалтирь

Катя Ткаченко. РЕМОНТ ЧЕЛОВЕКОВ

Каждый из нас понимает, что любовь и похоть — не вполне одно и то же. А для героини Кати Ткаченко, попавшей в экстраординарную ситуацию, они постепенно обернулись полярными, враждующими противоположностями.

В дебютном романе молодой, еще не испорченной рутинной ремесла писательницы, конечно, есть композиционные слабости, но они с лихвой искупаются обаянием ее незаурядного темперамента и безупречного, по-мужски цепкого языкового чутья.

Я выгляжу уверенной в себе женщиной. Но это иллюзия. Порою мне кажется, что вообще все в этой жизни — иллюзия и на самом деле все вокруг — совсем не те, за кого себя выдают... Нас всех надо отремонтировать, мы все больны... только болезни у всех разные. Мы больны тем, что мы — женщины, они — тем, что мужчины, вот только это не они нагибаются и их трахают, а мы.

Из романа

Дмитрий Стахов. АРАБСКИЕ СКАКУНЫ

Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? Персонажи нового романа Дмитрия Стахова осуждены на «жизнь, в которой к страху и цинизму добавляется непонятно откуда берущаяся, бьющая через край ярость». Эта ярость — следствие утраты ориентиров, внутренних скреп; без них действительность нынешней России кажется inferнальной, абсурдной. Но, изверившись до полусмерти, человек все-таки цепляется за любую возможность уверовать вновь. Его тоска по идеалу все пронзительней, все неутолимей. И однажды фарс оборачивается трагедией, отвращение — состраданием. В убогой мосластой кляче вспыхивает грация арабского скакуна.

Дебютировав пятнадцать лет назад в перестроечном журнале «Литературная учеба», Дмитрий Стахов за эти годы научился всему, о чем только может мечтать писатель: его сюжеты остры, неожиданны, ироничны, парадоксальны. Он прекрасно владеет словом, слогом, интонацией. Его фантазмагии питаются мощной энергией наших авантюрных будней, той самой жизни, которая, как известно, дается человеку только один раз.

Евгений Попов

Елена Сьянова. ПЛАЧЬ, МАРГАРИТА

Место и время действия — Германия, 1930—1931 годы: период стремительного взлета НСДАП. Имена большинства центральных персонажей печально знакомы нам с детства. Однако таких Гитлера, Геринга, Геббельса, Гесса — молодых, энергичных, нацеленных в счастливое будущее — мы еще не встречали ни в литературе, ни в кино.

Каждая сцена книги Елены Сьяновой основана на подлинных документах из труднодоступных архивов; внимательный читатель обнаружит здесь множество парадоксальных параллелей с ситуацией в России начала XXI века. Тем не менее перед нами не историко-публицистическое исследование, а психологический роман — о дружбе и страсти, самопожертвовании и предательстве. О том, какими чистыми чувствами и добрыми побуждениями бывает подчас вымощена дорога в ад.

Более сильный должен властвовать над более слабым, а вовсе не спариваться с более слабым и жертвовать таким образом собственной силой. Только слабые могут находить в этом нечто ужасное.

«Майн кампф»

Двенадцать лет германского нацизма... на фоне тысячелетий... всего лишь миг. Но это тот миг, в котором зло оказалось спрессованным, как в сверхплотном космическом веществе, крохотный кусочек которого весит миллиарды тонн.

Курт Бахман, немецкий историк

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

Адрес: 129075, Москва, Звездный бульвар, 23, стр. 12
Телефон: (095) 784-67-74 (*224, *226, *225, *228 — отдел реализации)
Факс: (095) 215-80-53; 784-67-68
E-mail: olma-msk@mtu-net.ru
Страница в интернете: <http://www.olmapress.ru>

Фирменный магазин: Москва, ул. Краснопролетарская, 16;
тел.: (095) 973-90-68
часы работы: будни: 09.00—19.00, суббота: 10.00—14.00

Клуб «Любимые книги семьи»: Москва, ул. Краснопролетарская, 16; **тел.:** (095) 973-90-43, (095) 978-58-43

Склад: Москва, ул. Верхние Поля, 30, рынок «Садовод»;
тел.: (095) 355-41-50, (095) 355-55-62,
факс: (095) 355-05-11
часы работы: будни и суббота: 08.00—20.00,
воскресенье: 08.00—14.00

Представительства:

198096, Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, 11
тел./факс (812) 183-52-86
E-mail: olmaspb@sovintel.spb.ru

603074, Нижний Новгород, ул. Совхозная, 13,
база ОАО «КНИГА»
тел./факс (8312) 41-84-86
E-mail: olma_nnov@fromru.com, fil-nn@mail.ru

Самара, ул. Верхне-Карьерная, 1а
тел./факс (8462) 70-55-53
E-mail: olma-sam@samaramail.ru


400005, Волгоград, ул. 7-я Гвардейская, 2а
тел./факс (8442) 34-59-30
E-mail: olma-vol@vlink.ru

660001, Красноярск, ул. Копылова, 66
тел./факс (3912) 47-11-40
E-mail: olma-krk@ktk.ru

350051, Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 38
E-mail: agkas@mail.ru

420108, республика Татарстан, Казань,
ул. Магистральная, 59/1
тел. (8432) 37-26-09

Украина, Киев, ч/п Папка Василий Романович
тел. (10-380-44) 417-21-60



Александр Мильштейн

Родился в 1963 году в Харькове. Там же окончил мехмат университета. Служил в организациях с труднопроизносимыми названиями (например, НИПИАСУтрансгаз). С 1995 года живет в Мюнхене. Периодически работает программистом в фирмах, производящих software.

Прозу пишет с 1988 года. «Школа кибернетики» — первая книга автора. Не женат. Ребенок от первого брака, Сергей, родился в 1985 году, живет в Германии.

GAP

Школа кибернетики

Я пересчитал доллары. Как раз на две бутылки пива. Если отказаться от газеты с ее рабочими объявлениями. Да ну ее к черту, эту газету. Она была только поводом выйти в два часа ночи. В черном воздухе мелькнули снежинки. Это был призрак снега, он не оставил следов на асфальте, не коснулся моей протянутой ладони, но что-то кружилось в воздухе, а со стороны Западного Бродвея ко мне шло дерево.

«Город-герой»

Картина русской литературы стала неопределенной... У нас в Японии тоже происходят сдвиги... появляются новые звезды... К таким промежуточным фигурам я могу отнести Харуки Мураками... Кажется, в России тоже происходит что-то подобное, хотя и медленнее.

Мицусеи Нумано, японский критик, славист